

СЕМИНАР

«В НАЧАЛЕ БЫЛО СЛОВО»

19 – 20 ДЕКАБРЯ 2015 Г.

**«Неясность слова есть неизменный признак
неясности мысли»**

Лев Николаевич Толстой

ПРОГРАММА СЕМИНАРА

Суббота, 19 декабря 2015 г.

10:00-10:15 **Открытие семинара**

10:15-10:30 **Диктант**

10:30-12:30 Сессия:

«Как поживает русский язык?»

Ирина Борисовна ЛЕВОНТИНА

кандидат филологических наук, старший научный сотрудник Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН

12:30-13:00 **Кофе-пауза**

13:00-14:30 Сессия:

«Русский язык, как ключ к пониманию русской культуры»

Алексей Дмитриевич ШМЕЛЁВ

лингвист, доктор филологических наук, профессор по специальности «русский язык» заведующий отделом культуры русской речи Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН

14:30-15:15 **Обед**

15:15-16:30 Сессия:

«Ложь и вранье в русской языковой картине мира»

Алексей Дмитриевич ШМЕЛЁВ

лингвист, доктор филологических наук, профессор по специальности «русский язык» заведующий отделом культуры русской речи Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН

16:30-17:00 **Кофе-пауза**

17:00-19:00 Практикум:

«Осколки разбитого вдребезги. Техника речи»

Марина Валерьевна ЛИБАКОВА-ЛИВАНОВА

артистка, чтица, театральный педагог кафедры философии, истории и теории культуры государственного театрального института им Бориса ЩУКИНА

- 09:30-11:00** Сессия:
«Гоголь. Мертвые души. Первый роман о новом русском, или почему Чичиков проигрывает мертвецам?»
Леонид Джозефович КЛЕЙН,
журналист, филолог, автор и ведущий литературной передачи на радиостанции «Серебряный дождь», старший преподаватель Академии народного хозяйства при Правительстве РФ
- 11:00–11:30** Кофе-пауза
- 11:30–13:00** Сессия:
«Европейская литературная традиция и массовая культура» (на примере фильма Ридли Скотта «Марсианин»)
Леонид Джозефович КЛЕЙН,
журналист, филолог, автор и ведущий литературной передачи на радиостанции «Серебряный дождь», старший преподаватель Академии народного хозяйства при Правительстве РФ
- 13:00– 13:40** Обед
- 13:40 - 15:00** Практикум:
«Боюсь: неверно всё, что мило. Техника речи»
Марина Валерьевна ЛИБАКОВА-ЛИВАНОВА
артистка, чтица, театральный педагог кафедры философии, истории и теории культуры государственного театрального института им Бориса ЩУКИНА
- 15:00– 15:20** Кофе-пауза
- 15:20–16:50** Практикум:
«Горе ума. Техника речи»
Марина Валерьевна ЛИБАКОВА-ЛИВАНОВА
артистка, чтица, театральный педагог кафедры философии, истории и теории культуры государственного театрального института им Бориса ЩУКИНА
- 16:50– 17:10** Кофе-пауза
- 17:10–19:00** Сессия:
«Национальная литература и восприятие национального характера»
БЕРКОЛАЙКО Марк Зиновьевич,
доктор физико-математических наук
ХАРИТОН Семен Валерьевич,
кандидат экономических наук, заместитель генерального директора ООО «Инвестиционная палата».
- 19:00-19:15** Подведение итогов. Закрытие семинара

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Юрий Лотман</i>	Феномены культуры	7
<i>Андрей Зализняк</i>	Почему в Израиле учатся по старым советским учебникам	16
<i>Игорь Милославский</i>	Великий, могучий русский язык	28
<i>Игорь Милославский</i>	Говорим правильно по смыслу или по форме?	35
<i>Владимир Плунгян</i>	Язык как главный герой	46
	Лексика языков мира	57
<i>Владимир Плунгян</i>	Почему языки такие разные. Популярная лингвистика	60
<i>Ирина Левонтина</i>	Языковая картина мира	67
<i>Алексей Шмелев, Елена Шмелева</i>	Этнические стереотипы в русских анекдотах	70
<i>Максим Кронгауз</i>	5 книг о русском языке	78
	Литературные премии мира	81

Феномен культуры

Юрий Михайлович Лотман,

*(28 февраля 1922, Петроград — 28 октября 1993, Тарту),
советский литературовед, культуролог и семиотик.*

Общепринятого удовлетворительного определения понятий «интеллект» и «интеллектуальное поведение» не существует. Не может быть принято отождествление понятий «интеллектуальный» (разумный) и «человекоподобный», с одной стороны, и «интеллектуальный» и «логический», с другой. Примером первого можно было бы считать определение Тьюринга, который склонен относить к интеллектуальным реакциям такие, которые мы в процессе длительного общения не можем отличить от человеческих. Примером второго могут явиться многочисленные попытки конструирования моделей искусственного интеллекта на основе усложнения некоторых исходных простых логических актов (например, решения задач или доказательства теорем).

Не ставя перед собой задачи дать исчерпывающее или точное определение и ограничиваясь целью выработки практически удобной формулы, можно было бы определить мыслящий объект как такой, который может:

- 1) хранить и передавать информацию (имеет механизмы коммуникации и памяти), обладает языком и может образовывать правильные сообщения;
- 2) осуществлять алгоритмизированные операции по правильному преобразованию этих сообщений;
- 3) образовывать новые сообщения. Сообщения, образуемые в результате операций, предусмотренных вторым пунктом, новыми не являются, выступая лишь как закономерные трансформации исходных текстов в соответствии с некоторыми правилами. В определенном смысле все сообщения, полученные в результате закономерных преобразований какого-либо исходного текста, могут рассматриваться как один и тот же текст.

Таким образом, новые тексты — это тексты «незакономерные» и, с точки зрения существующих уже правил, «неправильные». В общей культурной перспективе, однако, они предстают как полезные и необходимые. На их основе могут быть в дальнейшем сформулированы будущие правила образования высказываний. Можно предположить, что наряду с образованием текстов в соответствии с некоторыми заданными правилами имеет место формулировка правил на основании некоторых универсальных текстов (такую роль могут играть случайно образованные или попавшие из других культур, а также поэтические тексты). В этом случае мы имеем дело с «неправильными» или непонятными текстами, относительно которых предполагается презумпция осмысленности.

Между мыслительными операциями, охарактеризованными в первых двух пунктах, с одной стороны, и теми, о которых идет речь в третьем, существует противоречие. Коммуникативные связи реализуются в форме передачи некоего сообщения в определенной системе. Целью такой передачи является перемещение сообщения от адресанта к адресату. Оптимальным считается, чтобы в процессе передачи не произошло никакой утраты или сдвига смысла и текст отправленный был полностью идентичен тексту полученному. Все изменения, которым подвергается текст в процессе передачи, трактуются как искажения — результат технического несовершенства и помех в канале связи. Операции закодирования и декодирования симметричны, и все изменения касаются лишь сферы выражения.

Операции по трансформации сообщения, предусмотренные вторым пунктом, осуществляются в соответствии с определенными алгоритмическими правилами. Это приводит к тому, что если изменить направление операции, то мы получим исходный текст. Трансформации текста обратимы.

Для получения нового сообщения требуется устройство принципиально иного типа. Новыми сообщениями мы будем называть такие, которые не возникают в результате однозначных преобразований и, следовательно, не могут быть автоматически выведены из некоторого

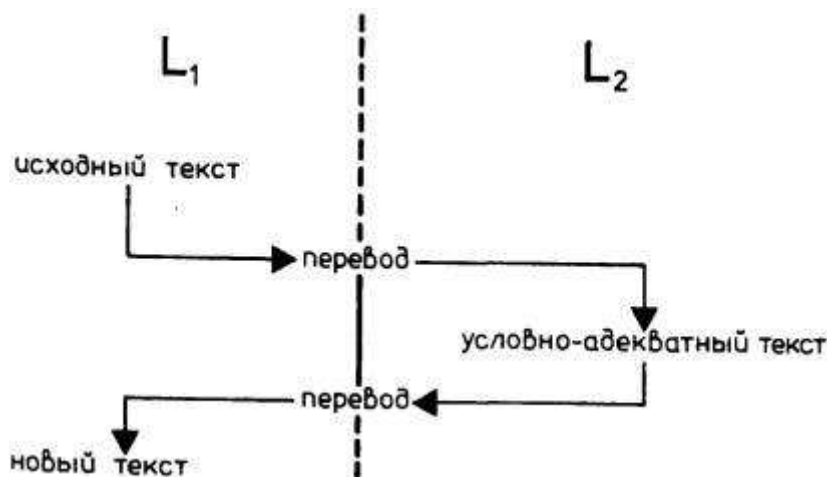
исходного текста путем приложения к нему заранее заданных правил трансформации. Система типа:

внешний объект (текст ==> автоматически фотографирующее устройство ==> текст (фотография) действительности)

в нашем смысле нового сообщения не создает, и сама по себе, сколь ее ни усложняй количественно, акта мысли не способна моделировать, даже если присоединить к ней систему «импульс — действие».

Только творческое сознание способно вырабатывать новые мысли. А для реконструкции творческого сознания необходима модель принципиально иного рода.

Представим себе два языка, L_1 и L_2 , устроенные принципиально столь различным образом, что точный перевод с одного на другой представляется вообще невозможным. Предположим, что один из них будет языком с дискретными знаковыми единицами, имеющими стабильные значения, и с линейной последовательностью синтагматической организации текста, а другой будет характеризоваться недискретностью и пространственной (континуальной) организацией элементов. Соответственно и планы содержания этих языков будут построены принципиально различным образом. В случае, если нам потребуется передать текст на языке L_1 средствами языка L_2 , ни о каком точном переводе не может идти речи. В лучшем случае возникнет текст, который в отношении к некоторому культурному контексту сможет рассматриваться как адекватный первому.



Предположим, что речь идет о переводе с естественного словесного языка на иконический язык живописи XIX в. Если потом произвести обратный перевод на L_1 , то мы, естественно, не получим исходного текста. Полученный нами текст будет по отношению к исходному новым сообщением.

Структура условно-адекватных переводов может выступать в качестве одной из упрощенных моделей творческого интеллектуального процесса.

Из сказанного вытекает, что никакое мыслящее устройство не может быть одноструктурным и одноязычным: оно обязательно должно включать в себя разноязычные и взаимонепереводимые семиотические образования. Обязательным условием любой интеллектуальной структуры является ее внутренняя семиотическая неоднородность.

Моноязычная структура может объяснить систему коммуникативных связей, процесс циркуляции некоторых уже сформулированных сообщений, но отнюдь не образование новых. Для возникновения той закономерной и целесообразной неправильности, которая и составляет сущность нового сообщения или нового прочтения старого (что дает толчок возникновению нового языка), необходима как минимум двуязычная структура. Это объясняет в иных отношениях загадочный факт гетерогенности и полиглотизма человеческой культуры, а также любого интеллектуального устройства. Наиболее универсальной чертой структурного дуализма человеческих культур является сосуществование словесно-дискретных языков и иконических, различные знаки в системе которых не складываются в цепочки, а оказываются в отношениях гомеоморфизма, выступая как взаимоподобные символы (ср. мифологическое представление о гомеоморфизме человеческого тела, общественной и космической структур). Хотя на различных

этапах человеческой истории та или иная из этих универсальных языковых систем предъявляет претензии на глобальность и действительно может занимать доминирующее положение¹, двуполусная организация культуры при этом не уничтожается, принимая лишь более сложные и вторичные формы. Более того, на всех уровнях мыслящего механизма — от двуполушарной структуры человеческого мозга до культуры на любом из ее уровней организации — мы можем обнаружить биполярность как минимальную структуру семиотической организации.

Проследим это на одном примере. Мифологическое сознание характеризуется замкнуто-циклическим отношением ко времени. Годичный цикл подобен суточному, человеческая жизнь — растительной, закон рождения — умирания — возрождения господствует над всем. Универсальным законом такого мира является подобие всего всему, основное организующее структурное отношение — отношение гомеоморфизма. Осень~вечер~старость; зачатие~посев зерна в землю~всякое вхождение в темное и закрытое пространство~погребение покойника~поедание. Следовательно, «мертвец~семя~зерно» (знак «~» читается «подобно»), а смерть столь же необходима для воскресения, как посев для всходов; аналогическим мышлением объясняется представление о том, что пытка, разъятие тела на части и разбрасывание их по земле — или разрывание и поедание — есть то же самое, что посев, и поэтому способствует воскрешению и возрождению. Это мощное уподобление, лежащее в основе сознания данного типа, заставляет видеть в разнообразных явлениях реального мира знаки *Одного* явления, а во всем разнообразии объектов одного класса просматривать *Единый Объект*. Все многообразие человеческих коллизий сводится к истории главной пары — Мужчины и Женщины. Женщина, в силу своей единственности, оказывается и Матерью, и Женой единственному Мужчине. Мужчина же циклически умирает в акте зачатия и возрождается в акте рождения, оказываясь сам себе сыном.

Следует иметь в виду, что все известные нам тексты мифов доходят до нас как трансформации — переводы мифологического сознания на словесно-линейный язык (живой миф иконически-пространствен и знаково реализуется в действиях и панхронном бытии рисунков, в которых, как, например, в пещерных и наскальных изображениях, нет линейной заданности порядка) и на ось линейно-временного исторического сознания. Отсюда представление о поколениях и этапах, все эти «сначала» и «потом», которые организуют известные нам записи и пересказы, но принадлежат не самому мифу, а его переводу на немифологический язык. То, что в пересказе на языке линейного мышления превращается в последовательность, в мифологическом мире представляет бытие, располагающееся на концентрических кругах, между которыми существует отношение гомеоморфизма. Этому не противоречит то, что персонаж, единый в пределах одного круга, может на другом распадаться на антагонистические и борющиеся персонажи². Однако мифологический мир ни на какой стадии существования человеческого общества не мог быть единственным организатором человеческого сознания (как ни на какой стадии люди не могли пользоваться только стихами или полностью не знать их употребления). Мир эксцессов, случайных (с позиции мифа) происшествий, человеческих деяний, не имеющих параллелей в глубинных циклических законах, накапливался в виде рассказов в словесной форме, текстов, организованных линейно-временной последовательностью. В отличие от мифа, повествующего о том, что должно происходить, он рассказывал о том, что действительно произошло, панхронности мифа он противопоставлял реально-прошедшее время. Миф смотрел как на несуществующие на те черты реальных событий, которые не имели соответствий в глубинно-циклическом мире; хроникально-исторический мир отбрасывал те глубинные закономерности, которые противоречили наблюдаемым событиям. На линейно-временной оси вырастали хроника, бытовой рассказ, история.

Несмотря на заметную антагонистичность и постоянную борьбу этих двух моделирующих языков, реальное человеческое переживание структуры мира строится как постоянная система внутренних переводов и перемещения текстов в структурном поле напряжения между этими двумя полюсами. В одних случаях обнаруживаются способность уподоблений между явлениями, кажущимися различными, раскрытие аналогий, гомео- и изоморфизмов, существенных для

¹ Так, в европейской культуре XVII—XIX вв. явно доминирует словесно-дискретная система. Естественный язык и логические метаязыки становятся моделями культуры как таковой. Однако именно в эпохи доминирования той или иной системы делается очевидной невозможность превращения ее в единственную.

² См.: Лотман Ю. М. Происхождение сюжета в типологическом освещении // Лотман Ю. М. Статьи по типологии культуры. Тарту, 1973.

поэтического, частично математического и философского мышления, в других раскрываются последовательности, причинно-следственные, хронологические и логические связи, характерные для повествовательных текстов, наук логического и опытного циклов. Так, мир детского сознания — по преимуществу мифологического — не исчезает и не должен исчезать в ментальной структуре взрослого человека, а продолжает функционировать как генератор ассоциаций и один из активных моделирующих механизмов, игнорируя который, невозможно понять поведение взрослого человека.

Наблюдая биполярную организацию на самых различных уровнях человеческой интеллектуальной деятельности, можно было бы выделить оппозиционные пары, в которых на одном полюсе будет преобладать дискретно-линейное, а на другом — гомеоморфно-континуальное начало организации, и установить определенную параллель с левополушарным и правополушарным принципами индивидуального мышления человека.

детское сознание	<----->	взрослое сознание
мифологическое сознание	<----->	историческое сознание
иконическое мышление	<----->	словесное мышление
действие	<----->	повествование
стихи	<----->	проза

Система подобных оппозиций могла бы быть продолжена. Важно подчеркнуть, что стоит выделиться какому-либо уровню семиотического освоения мира, как в рамках его тотчас же наметится оппозиция, которая может быть вписана в приведенный ряд. Без этого данный семиотический механизм оказывается лишенным внутренней динамики и способным лишь передавать, но не создавать информацию.

Невозможность точного перевода текстов с дискретных языков на недискретно-континуальные и обратно вытекает из их принципиально различного устройства: в дискретных языковых системах текст вторичен по отношению к знаку, т. е. отчетливо распадается на знаки. Выделить знак как некоторую исходную элементарную единицу не составляет труда. В континуальных языках первичен текст, который не распадается на знаки, а сам является знаком или изоморфен знаку. Здесь активны не правила соединения знаков, а ритм и симметрия (соответственно аритмия и асимметрия). В случае выделения некоторой элементарной единицы она не распадается на дифференциальные признаки. Так, например, если нам следует опознать некоторое незнакомое нам лицо (например, идентифицировать две фотографии лично не знакомого нам человека), мы будем выделять сопоставляемость отдельных черт. Однако недискретные тексты (например, знакомое лицо) опознаются целостным недифференцированным знанием. Можно было бы также указать на опознание значения образов в сновидении, когда любая трансформация не мешает безошибочно знать, какое значение следует приписывать тому или иному явлению³. Ср. в «Заклинании» Пушкина:

³ Ср. описание сна Л. Н. Толстым: «Старичок пробивает головой сугроб: он не столько старичок, сколько заяц, и скачет прочь от нас. Все собаки скачут за ним. Советчик, который есть Федор Филиппыч, говорит, чтобы все сели кружком (...) но старичок не старичок, а утопленник» (*Толстой Л. Н. Собр. соч.: В 14 т. М., 1951. Т. 2. С. 252—253*). Образы-знаки здесь не конвенциональные, поскольку выражение их связано с содержанием безусловно, и не иконические (в последнем случае изменение внешнего образа означало бы скачкообразный переход к другому знаку: заяц, утопленник и старичок, советчик и Федор Филиппыч, если читать их как иконические знаки, суть знаки различные; однако в данном случае заяц—старичок—утопленник опознаются нами как одно и то же). Само наличие конвенциональных и иконических знаков есть отражение в дискретной системе дуализма «дискретность <--> недискретность». При такой транспозиции основного семиотического дуализма культуры в одну ее часть знаки словесного типа удваиваются (дискретное изображение дискретности), что приводит к тому, что они фактически становятся метаединицами, а иконические знаки делаются гибридным образованием: дискретным изображением недискретности.

Явись, возлюбленная тень,
Как ты была перед разлукой,
Бледна, хладна, как зимний день,
Искажена последней мукой.
Приди, как дальняя звезда,
Как легкой звук иль дуновенье,
Иль как ужасное виденье,
Мне все равно: сюда, сюда!..

При этом речь идет не об условном знаке, при котором «дальняя звезда», «легкий звук», «дуновенье» или «ужасное виденье» — выражения, которые лишь конвенционально связаны с содержанием «ты». Все эти облики суть ипостаси, внешность которых непосредственно связана с содержанием. Однако, подобно тому как в топологии куб есть шар, хотя на него и не похож, здесь все эти облики есть «ты». В дискретных языках знак соединяется со знаком, в континуальных — трансформируется в другое свое проявление или уподобляется соответствующему смысловому пятну на другом уровне.

Естественно, что при столь глубоком различии в структуре языков точность перевода заменяется проблемой смысловой эквивалентности.

Однако тенденция к увеличению специализации языков и к предельному затруднению переводов между ними составляет лишь один аспект тех сложных процессов, совокупность которых образует интеллектуальное целое. Мыслящая структура должна образовывать личность, т. е. интегрировать противоположные семиотические структуры в единое целое. Противоположные тенденции должны сниматься в некотором едином структурном целом. Единство это необходимо для того, чтобы, несмотря на кажущуюся невозможность перевода $L_1 > L_2$, перевод такой постоянно осуществлялся и давал положительные результаты. В тот момент, когда общение между данными языками оказывается действительно невозможным, наступает распад культурной личности данного уровня и она семиотически (а иногда и физически) просто перестает существовать.

Интеграционные механизмы бывают двух родов.

Во-первых, это блок метаязыка. Метаязыковые описания являются необходимым элементом «интеллектуального целого». С одной стороны, они, описывая два различных языка как один, заставляют всю систему восприниматься с субъективной точки зрения в качестве некоторого единства. Система самоорганизуется, ориентируясь на данное мета-описание, отбрасывая те свои" элементы, которые, с точки зрения мета-описания, не должны существовать, и акцентируя то, что в таком описании подчеркивается. В момент создания метаописания оно, как правило, существует как будущее и желательное, но в дальнейшем эволюционном развитии превращается в реальность, становясь нормой для данного семиотического комплекса.

Одновременно автометаописания заставляют данный комплекс восприниматься с внешней точки зрения как некоторое единство, приписывать ему определенное единство поведения и рассматривать в более широком культурном контексте как целое. Такое ожидание, в свою очередь, стимулирует единство самовосприятия и поведения данного комплекса.

Во-вторых, может иметь место далеко идущая креолизация этих языков. Принципы одного из языков оказывают глубокое воздействие на другой, несмотря на совершенно различную природу грамматик. В реальном функционировании может выступать смесь двух языков, что, однако, как правило, ускользает от внимания говорящего субъекта, поскольку сам он воспринимает свой язык сквозь призму мета-описаний, а эти последние чаще всего возникают на основе какого-либо одного из языков-компонентов, игнорируя другой (другие). Так, современный русский язык функционирует как смесь устного и письменного языков, являющихся, по существу, различными языками, что остается, однако, незаметным, поскольку языковое мета-сознание отождествляет письменную форму языка с языком как таковым.

Исключительно интересен пример кинематографа. С самого начала он реализуется как двуязычный феномен (движущаяся фотография+письменный словесный текст = немое кино; движущаяся фотография+звучащая словесная речь = звуковое кино; как факультативный, хотя и широко распространенный элемент, существует третий язык — музыка). Однако в воспринимающем сознании он функционирует как одноязычный. В этом отношении характерно, что, хотя кинематограф и театральная драматургия в определенном отношении однотипны, представляя собой смесь словесного текста и текста на языке жеста, позы и действия, театр

воспринимается зрителем как слова по преимуществу, а кино — как действие *par excellence*. Показательно, что «партитура» спектакля — пьеса — фиксирует в основном слова, оставляя действие и жесты в области компетенции исполнительства (т. е. словесный текст инвариантен, а жестово-действенный вариативен), а партитура фильма — сценарий — фиксирует в первую очередь поступки, события, жесты, т. е. язык зримо воспринимаемых образов, оставляя слова в большинстве случаев «специалистам по диалогу», «текстовикам» или вообще допуская в этой области широкую вариативность режиссерского произвола. Соответственно исследовательские метаописания в театре, как правило, исследуют слова, в кино — зримые элементы языка. Театр тяготеет к литературе как основе метаязыка, кино — к фотографии.

Однако в данной связи нас интересует другое — далеко идущий факт креолизации составных языков-компонентов кино. В период немого монтажного кино воздействие словесного языка проявилось в четкой сегментации фильмового материала на «слова» и «фразы», в перенесении на сферу иконических знаков словесного принципа условности отношения между выражением и содержанием. Это породило поэтику монтажа, являющуюся переносом в область изображений принципов словесного искусства эпохи футуризма. Язык движущейся фотографии, приняв в себя структурно чуждые ему элементы языка словесной поэзии, сделался языком киноискусства.

В период звукового кино имело место активное «освобождение» киноязыка от принципов словесной речи. Однако одновременно произошло широкое обратное движение: технические условия киноленты требовали коротких текстов, а сдвиг в эстетической природе фильма, отказ от поэтики мимического жеста привел к ориентации не на театральную или письменно-литературную, а на разговорную речь. Природа киноленты повлияла на структуру киноязыка, отобрав из всей его толщи определенный пласт. Наиболее «кинематографичным» оказался сленг, а также сокращенный, эллиптированный разговорный язык. Одновременно введение этого пласта речи в киноискусство повысило его в престижном отношении в культуре в целом, придало ему необходимую фиксированность, культурно эквивалентную письменности. (Кинематограф в этом отношении принципиально отличен от литературы: любое литературное произведение изображает устную речь, т. е. дает ее письменный, стилизованный образ, кинематограф же может закрепить и реабилитировать ее в «природном» виде.) Это привело к широким последствиям уже за пределами кино: возникла сознательная ориентация на «неправильную речь». Если прежде «говорить как в книге» или «как в театре» («как в искусстве») было искусством говорить правильно, искусственно, «по-письменному», то в настоящее время «говорить как в кино» («как в искусстве») в ряде случаев стало «говорить как говорят» — с акцентированной косноязычностью, неправильностями, эллипсами, сленговыми элементами. Нарочитая «неписьменность» речи стала частью «современного» стиля. Устное говорение ориентируется в этом случае на свою подчеркнутую специфику как на идеальную культурную норму. Можно было бы привести и другие примеры разнообразных языковых интерференции, приводящих к тому, что большинство реально функционирующих языков (а не их моделей и метаописаний) оказываются смесью языков и могут быть расчленены на два или более семиотических компонента (языка).

Таким образом, в толще культуры можно наблюдать два противоположных процесса. Запущенный а работу механизм дуальности приводит к постоянному расщеплению каждого культурно активного языка на два, в результате чего общее число языков культуры лавинообразно растет. Каждый из возникающих таким образом языков представляет собой самостоятельное, имманентно замкнутое в себе целое. Однако одновременно происходит процесс противоположного направления. Пары языков интегрируются в целостные семиотические образования. Таким образом, работающий язык выступает одновременно и как самостоятельный язык, и как подязык, входящий в более общий культурный контекст как целое и часть целого. Как часть целого более высокого порядка язык получает дополнительную спецификацию в свете исходной асимметрии, лежащей в основе культуры. Приведем пример таких оппозиций:

художественная проза	<==>	Поэзия
нехудожественная проза	<==>	художественная проза

Очевидно, что «художественная проза» в первой паре не равна себе самой во второй паре, ибо в первом случае в ней актуализируются сегментированность, дискретность, линейность — то, что свойственно всякой словесной речи и противостоит тенденции поэзии к интеграции текста. Во втором случае художественная проза реализуется, наряду с поэзией, как часть художественной речи и только в этом качестве, благодаря своему отличию от нехудожественной прозы, может

интегрироваться с этой последней в структуру «прозаическая речь на данном языке». Только неодинаковое может интегрироваться. Рост семиотической спецификации, наблюдающийся как постоянная тенденция в истории культуры, является стимулом для интеграции отдельных языков в единую культуру.

Нам уже приходилось отмечать, что каждая интегрированная семиотическая пара языков, обладая возможностью вступать в коммуникации, хранить информацию и, что особенно существенно, вырабатывать новую, является мыслящим устройством и в определенном отношении выступает как «культурная индивидуальность»⁴. Интегрируясь между собой по все возрастающим уровням, эти «культурные индивидуальности» на вершине образуют индивидуальность культуры.

*

Природа культуры непонятна вне факта физико-психологического различия между отдельными людьми. Многочисленные теории, вводящие понятие «человек» как некоторую абстрактную концептуальную единицу, исходя из представления о том, что оно является инвариантной моделью, включающей все существенное для построения социокультурных моделей. То, что отличает одного человека от другого, равно как и природа этих различий, как правило, игнорируется. Основой для этого служит представление о том, что различия между людьми относятся к сфере вариативного, внесистемного и, с точки зрения познавательной модели, несущественного. Так, например, при рассмотрении элементарной схемы коммуникации представляется совершенно естественным предположить, что адресант и адресат обладают полностью идентичной кодовой природой. Предполагается, что такого рода схема наиболее точно моделирует сущность реального коммуникативного акта. Конечно, любой культуролог знает, что ни один человек не является копией другого, отличаясь психофизическими данными, индивидуальным опытом, внешностью, характером и т. д. и т. п. Однако предполагается, что в данном случае речь должна идти о «технических погрешностях» природы, которая в силу ограниченности своих «производственных возможностей» не может наладить серийного производства, что все, относящееся к сфере индивидуальных вариантов, не касается самой сущности человека как социального и культурного явления. Такой взгляд восходит к античности, но особенно ясно был сформулирован социологами XVIII в. С тех пор он многократно подвергался критике, однако как молчаливая презумпция продолжает держаться до настоящего времени.

Мы исходим из противоположного допущения, полагая, что индивидуальные различия (и наслаивающиеся на них групповые различия культурно-психологического плана) принадлежат к самой основе бытия человека как культурно-семиотического объекта. Именно вариативность человеческой личности, развиваемая и стимулируемая всей историей культуры, лежит в основе многочисленных коммуникативных и культурных действий человека.

Представим себе некоторый организм (устройство), который для всех внешних раздражений будет иметь лишь две реакции. Предположим, например, что он будет иметь способность фиксировать по степени освещенности, происходит ли дело днем или ночью. Различая две ситуации, наше устройство способно и осуществлять двоякие действия: при сигнале «ночь» включать лампочку, а при сигнале «день» ее выключать. Соединим данное устройство при помощи связи с другим таким же так, чтобы оно могло передавать адресату сигналы «ночь» или «день», в зависимости от чего там также будет включаться или выключаться лампочка.

Такое устройство будет обладать:

1. Всезнанием. Знание будет бедным и неэффективным, поскольку оно не сможет обеспечить даже относительной полноты сведений об окружающей среде, но в пределах заданного алфавита оно будет абсолютным. Наше устройство всегда будет способно ответить на тот единственный вопрос, который предусмотрен его конструкцией. Ответ: «Не знаю» — для него невозможен. В любой ситуации оно выделит параметр «свет <—> отсутствие света» и, отбросив все остальные как несущественные, прореагирует на него.

2. Отсутствием сомнений и колебаний. Поскольку анализ состояния внешней среды и реакции связаны автоматически, то никаких колебаний в выборе поведения у данного устройства быть не может. Поведение может быть неэффективным, не обеспечивающим данному организму выживание, но оно будет надежно гарантировано. Однозначное определение состояния среды повлечет за собой однозначное действие.

⁴ Лотман Ю. М. Культура как коллективный интеллект и проблема искусственного разума. М., 1977 г.

3. Полным пониманием между отправителем и получателем сигнала. Одинаковая кодирующая-декодирующая система, связывающая передающее и принимающее устройства, обеспечивает полную идентичность переданного и воспринятого текстов. Непонимание возможно лишь как результат технических неполадок в канале связи.

Представим, однако, что наше устройство должно эволюционировать в направлении повышения способности выживания. Естественно было бы сначала увеличить набор параметров внешней среды, на которые оно способно реагировать, стараясь довести его до максимума. Однако очевидно, что на этом пути качественного сдвига, превращающего реагирующее устройство в сознание, не произойдет.

Факт сознания может быть отмечен тогда, когда в устройстве отображения внешнего мира на алфавит, с помощью которого данный организм идентифицирует состояния внешней среды с внутренним кодом, будет резервирована пустая клетка для будущих, еще не выделенных и не названных состояний. Сегментация внешнего мира, дешифровка его состояний и перевод их на язык своего кода перестают быть данными раз и навсегда, и в каждой новой системе таких классификаций остается резерв неопознанного, такого, что еще предстоит узнать, определить и осмыслить.

С введением таких «пустых клеток» реагирующий механизм нашего устройства приобретает черты сознания: обретает гибкость, способность саморазвиваться, повышая собственную эффективность, создавая более действенные модели (отображения) внешних ситуаций. Но одновременно он утратит всезнание — автоматическое наличие ответа на любой вопрос — и отсутствие колебаний — столь же автоматическую связь между поступающей извне информацией и действием. Последнее обстоятельство связано с другим решительным шагом при переходе от механического автоматизма к сознательному поведению:

если прежде каждому внешнему раздражителю приписывалась одна и только одна автоматически связанная с ним реакция, то теперь он связан минимально с двумя равноценными в определенном отношении реакциями, что делает необходимым наличие механизма оценки и выбора, т. е. придает реакции не автоматический, а информационно содержательный характер, превращая ее в поступок.

Неизмеримо повышая эффективность действий нашего устройства, которое с этого момента получает собственное поведение, возможность выбора между реакциями неизбежно включает момент колебаний.

Таким образом, в тот момент, когда мы усложнили организацию наблюдаемого нами устройства настолько, что оно может быть квалифицировано как обладающее интеллектом, оно, обретая возможность гибко и эффективно реагировать на изменения окружающего мира и ориентироваться в нем, строя в своем уме все более действенные модели, одновременно оказалось в положении непрерывно возрастающих незнания и неуверенности. Тем, кто занимается вопросом искусственного интеллекта, не следовало бы забывать, что созданное ими мыслящее устройство (разумеется, если не называть этим именем механические придатки к человеческому интеллекту, лишённые умственной самостоятельности), в случае, если такое будет создано, сразу же окажется жертвой неврозов, вытекающих из ощущения своей незащищенности, неинформированности и сомнений в том, какую стратегию поведения следует избрать.

Феномен мысли по самой своей природе не может быть самодостаточным. Как и все великие усовершенствования и открытия, изобретение, устраняющее существующие трудности, само является источником новых, еще более крупных затруднений и требует новых изобретений. Колоссальный скачок в область мысли, сопровождающийся резким повышением устойчивости и выживаемости в окружающем мире, требовал новых открытий, которые помогли бы справиться с трудностями, создаваемыми сознательным существованием.

С одной стороны, естественно было возместить рост неуверенности и незнания обращением к покровительственным существам, обладающим всезнанием. Появление религии, совпадающее стадильно с возникновением феномена мысли, конечно, не случайно. Этот вопрос является совершенно самостоятельным и из темы нашего настоящего рассмотрения выпадает. Другим средством преодоления возникших трудностей явилась апелляция к коллективному разуму, т. е. культуре. Культура — сверхиндивидуальный интеллект — представляет собой механизм, восполняющий недостатки индивидуального сознания и, в этом отношении, представляющий неизбежное ему дополнение.

В этом смысле механизм культуры может быть описан в следующем виде: недостаточность информации, находящейся в распоряжении мыслящей индивидуальности, делает необходимым

для нее обращение к другой такой же единице. Если бы мы могли представить себе существо, действующее в условиях полной информации, то естественно было бы предположить, что оно не нуждается в себе подобном для принятия решений. Нормальной же для человека ситуацией является деятельность в условиях недостаточной информации. Сколь ни распространяли бы мы круг наших сведений, потребность в информации будет развиваться, обгоняя темп нашего научного прогресса. Следовательно, по мере роста знания незнание будет не уменьшаться, а возрастать, деятельность, становясь более эффективной, — не облегчаться, а затрудняться. В этих условиях недостаток информации компенсируется ее стереоскопичностью — возможностью получить совершенно иную проекцию той же реальности, перевод ее на совершенно другой язык. Польза партнера по коммуникации заключается в том, что он другой. Коллективная выгода участников коммуникативного акта заключается в том, чтобы развивать нетождественность тех моделей, в форме которых отображается внешний мир в их сознании. Это достигается при несовпадении образующих их сознание кодов. Чтобы быть взаимно полезными, участники коммуникации должны «разговаривать на разных языках». Таким образом, с развитием культуры теряется третье преимущество простой системы — адекватность взаимопонимания между участниками коммуникации. Более того, весь механизм культуры, делающий одну индивидуальность необходимой для другой, будет работать в сторону увеличения своеобразия каждой из них, что повлечет за собой естественное затруднение в общении.

Для компенсации этой новой возникшей трудности необходимо будет создание метаязыковых механизмов, с одной стороны, и возникновение общего языка — смеси из двух расходящихся и специализирующихся подязыков, с другой. Личные индивидуальности, сохраняя свою отдельность и самостоятельность, будут включаться в более сложную индивидуальность второго порядка — культуру.

Очевидно, что та же самая система отношений, которая соединяет различные языки (семиотические структуры) в высшее единство, соединяет и различные индивидуальности в мыслящее целое. Совокупность этих двух — однотипных по структуре — механизмов и образует надындивидуальный интеллект — Культуру.

*

Отличие Культуры как сверхиндивидуального единства от сверхиндивидуальных единств низшего порядка (типа «муравейник») в том, что, входя в целое как часть, отдельная индивидуальность не перестает быть целым. Поэтому отношение между частями не имеет автоматического характера, а каждый раз подразумевает семиотическое напряжение и коллизии, порой принимающие драматический характер. Охарактеризованный выше структурообразующий принцип работает в обоих направлениях. С одной стороны, он приводит к тому, что в ходе развития культуры оказывается возможным возникновение внутри индивидуального сознания человека психологических «личностей» со всеми сложностями коммуникативной связи между ними, с другой — отдельные личности с исключительной мощностью интегрируются в семиотические единства.

Богатство внутренних конфликтов обеспечивает Культуру как коллективному разуму исключительную гибкость и динамичность.

ОБ ИСТОРИИ РУССКОГО ЯЗЫКА

Андрей Анатольевич ЗАЛИЗНЯК,

академик РАН по секции литературы и языка Отделения истории и филологии

Сегодня стоит коротко рассказать о том, чего недостает в школьных программах, — об истории русского языка.

Курс истории русского языка в полном объеме читается в университетах иногда год, иногда два года, так что сами понимаете, что это такое в полном объеме. Попробовать, тем не менее, за одно занятие рассказать вам обо всем этом что-то существенное — задача несколько дерзкая. Но я думаю все-таки, что это не бессмысленно, хотя придется, конечно, разные стороны дела из такого обширного предмета упоминать очень поверхностно. Надеюсь, что каким-то образом это расширит ваши представления о том, как формировался язык, которым все мы с вами владеем. Кое-что мне придется повторить из того, что я в этой аудитории уже немножко рассказывал по другому поводу, поскольку это связанные вещи, но вы уж потерпите. Точно так же мне придется среди прочего рассказывать какие-то общеизвестные вещи. Значительная часть присутствующих должна уже их знать, но опять-таки — будьте сдержанны, поскольку для цельности они иногда нам будут необходимы. Итак, разговор пойдет об основных темах, возникающих при изучении истории русского языка.

Первое маленькое предварительное отступление состоит в том, чтобы еще раз (потому что об этом я уже с вами разговаривал) ответственно объявить чепухой многочисленные выдумки о бесконечной древности русского языка. О том, что русский язык существовал три тысячи лет назад, пять тысяч лет назад, семь тысяч лет назад, семьдесят тысяч лет назад, — в разных сочинениях вы можете найти подобные утверждения. Про тех, кто увлекается этого рода выдумками, замечательно было сказано, что это теории того, как человек произошел от русского.

На самом деле история всякого языка с определенным названием: французского, русского, латинского, китайского — это история того периода времени, когда существует это его название. Причем прочертить какую-то четкую границу, которая отделяет язык от предыдущего этапа его существования, мы не можем. Смена поколений с маленькими изменениями от одного поколения к другому происходит непрерывно во всей истории человечества в каждом языке, и, безусловно, наши родители и наши деды говорят с нашей точки зрения на том же языке, что мы. От мелочей мы отвлекаемся и в общем верим, что двести лет назад или четыреста лет назад говорили на том же языке. А дальше уже начинаются некоторые сомнения.

Можете ли вы сказать, что наши предки, которые жили тысячу лет назад, говорили на том же языке, что и мы? Или всё-таки уже не на том же? Заметим, что, как бы вы ни решили этот вопрос, у этих людей тоже были свои предки, жившие на тысячу, две, три тысячи лет раньше. И каждый раз от поколения к поколению изменение языка было незначительным. Начиная с какого момента мы можем говорить, что это уже русский язык, а не его дальний предок, который — и это очень существенно — является предком не только нашего русского языка, но также и ряда родственных языков?

Все мы знаем, что русскому языку близко родственны украинский и белорусский. Общий предок этих трех языков существовал — по меркам истории — не так уж давно: всего лишь примерно тысячу лет назад. Если вы возьмете не тысячу, а три тысячи лет, пять тысяч лет и так далее вглубь древности, то окажется, что люди, к которым мы восходим чисто биологически, являются предками не только нынешних русских, но и ряда других народов. Тем самым ясно, что история

собственно русского языка не может продлеваться бесконечно вглубь времен. Где-то мы должны установить некоторую точку условного начала.

Реально такой точкой практически всегда бывает момент, когда первый раз фиксируется нынешнее название языка. То есть временные границы оказываются здесь связанными не с сутью самого языка как средства общения, а с тем, что люди, которые на нем говорят, называют себя каким-то термином. И в этом смысле разные языки имеют очень разную глубину истории. Например, армянский язык называется тем же самым именем *хай*, что и сейчас, уже в течение нескольких тысяч лет. Какие-то другие языки имеют в этом смысле сравнительно недавнюю историю. Для русского языка это период примерно несколько больше тысячи лет, поскольку первые упоминания слова *русь* относятся к концу первого тысячелетия нашей эры.

Не буду вдаваться в сложную историю того, откуда взялось само слово. По этому поводу имеется несколько теорий. Самая распространенная и самая вероятная из них — теория скандинавская, состоящая в том, что само слово *русь* по происхождению не славянское, а древнескандинавское. Есть, повторяю, и конкурирующие гипотезы, но в данном случае речь идет не об этом, важно то, что само это название начинает упоминаться в IX–X вв. и первоначально явно применяется еще не к нашим этническим предкам, а к скандинавам. Во всяком случае, в греческой традиции слово *рос* обозначает норманнов, а наших славянских предков оно начинает обозначать лишь примерно с X–XI вв., переходя на них от наименования тех варяжских дружин, которые приходили на Русь и из которых происходили князья Древней Руси.

Начиная примерно с XI в. это название распространяется на славяноязычное население территории вокруг Киева, Чернигова и Переславля Южного. В течение определенного периода истории восточного славянства термин *Русь* обозначал сравнительно небольшое пространство, примерно соответствующее нынешней северо-восточной Украине. Так, новгородцы долгое время вовсе не считали себя русскими, не считали, что слово *Русь* относится к их территории. В новгородских берестяных грамотах, а также и в летописях до некоторого времени встречаются рассказы о том, что такой-то епископ в таком-то году отправился в Русь из Новгорода, то есть поехал на юг, в Киев или Чернигов.

Это легко проследить по летописям. Такое словоупотребление нормально для XI, XII, XIII вв. и только в XIV в. мы впервые видим, что новгородцы, сражаясь с какими-то своими внешними врагами, называют себя в летописи русскими. Дальше это название расширяется, и примерно с XIV в. оно уже соответствует всей восточнославянской территории. И хотя в это время на этой территории уже существуют зачатки трех разных будущих языков, все они одинаково называются русскими.

Примечательным образом позже снова наступает сужение этого термина: сейчас мы именуем русскими только часть восточнославянского населения, а именно ту, которая может иначе называться великорусской. А два других языка на этой территории: белорусский и украинский — уже сформировались как самостоятельные языки, и слово *русский* в широком смысле к ним больше обычно не применяется. (Правда, еще примерно лет двести назад нормальным было такое словоупотребление, что всё это — русское население, у которого имеется великорусская часть, малорусская [ныне украинская] часть и белорусская часть.) Вот таким образом сперва произошло расширение, а затем сужение термина «русский».

У большинства из вас представление о родословном древе русского языка в той или иной степени есть, но всё же я эти сведения кратко повторю. Ныне это генеалогическое древо в упрощенном виде должно быть выведено из некоего реконструируемого древнейшего языка, именуемого ностратическим, к которому восходят языки очень значительной части жителей земного шара. Он существовал очень давно; оценки различаются, но, видимо, порядка двадцати пяти тысяч лет назад.

Одна из ветвей его — это ветвь индоевропейская, в которую входит большая часть языков Европы и Индии, откуда и само название *индоевропейские языки*. В Европе их безусловное большинство, в Индии — значительная часть, но тоже, в общем, большинство. На востоке это индийская и иранская группы; в Европе — латынь с возникшими из нее романскими языками: французским, итальянским, испанским, португальским, румынским; и греческая ветвь, которая в древности представлена древнегреческим языком, а ныне — новогреческим. Далее германская ветвь: это немецкий, шведский, норвежский, датский, исландский, английский; и балто-славянская ветвь, объединяющая балтийские языки и славянский. Балтийские это латышский, литовский и вымерший ныне древнепрусский. Славянская, достаточно вам известная, традиционно делится на три группы: южнославянские, западнославянские и восточнославянские языки.

Сейчас к этому традиционному членению славянских языков возникают некоторые коррективы, но традиционная схема именно такова. Южнославянские языки — это болгарский, сербский, словенский, македонский; западные — польский, чешский, словацкий, лужицкие. А восточнославянские языки, первоначально единые по традиционной схеме, — это русский (иначе великорусский), украинский и белорусский.

После этого общего введения коснемся уже некоторых более технических сторон истории языка. Прежде всего следует понимать, что язык — это необычайно сложный механизм, который включает в себя ряд аспектов, в каждом из которых возможно некоторая специфика и некоторая динамика и неустойчивость. Это прежде всего разнообразие стилей одного и того же языка. В пределах любого языка есть то, что можно назвать высоким стилем или хорошим литературным языком, и есть противоположный полюс — просторечие, вульгарная речь. Между ними есть разного рода промежуточные пласты типа разговорного, обыденного языка. Всё это в полной мере наблюдается и в русском языке, в том числе в настоящий момент, как и в любой момент истории.

Это одна сторона дела. Другая сторона дела состоит в том, что любой язык неоднороден в диалектном смысле, в любом языке имеется большое разнообразие местных говоров, а иногда и даже довольно сильно различающихся между собой диалектов. С этой точки зрения языки могут быть разными, то есть более или менее монолитными. Есть языки, в которых различия так велики, что взаимное понимание вовсе не просто. Пример — современная Италия, где говор крайнего юга и говор севера, допустим Венеции, настолько значительно различаются, что понимание между ними хотя и возможно, но вполне может быть затруднительно. А общей для них является именно литературная форма языка. Такая же ситуация и во многих других языках мира. Особенно сильна она в китайском языке, где северный и южный диалекты в своем устном воплощении фактически не дают возможности прямого взаимопонимания. В каких-то других языках ситуация более благополучная. Так, в русском языке различия говоров невелики, у носителя литературного языка особых проблем в понимании даже при общении с самыми дальними говорами нет. Каких-то слов, конечно, мы не поймем, в каких-то случаях могут быть отдельные недоразумения, но в целом всё же эта дистанция сравнительно невелика.

Но, повторяю, различия говоров и диалектов существуют в любом языке. Тем самым сосуществуют несколько различные языковые механизмы, взаимодействующие друг с другом и порождающие разные непростые эффекты в том, как складывается центральная литературная форма языка. Литературный язык, как правило, до какой-то степени впитывает элементы разных говоров. Редко бывает, чтобы литературный язык в точности совпадал с говором, допустим, столицы государства, как иногда кажется на первый взгляд. Точно так же и для русского языка ситуация такова, что хотя наш с вами литературный язык очень близок к говорам московской области, он всё же не совпадает с ними полностью. Он впитал в себя целый ряд элементов более удаленных к северу, к югу, к востоку и к западу.

Далее. Сложность механизмов функционирования любого языка определяется тем, что никакой язык не существует в полной изоляции от соседей. Даже в таких крайних случаях, как, допустим, Исландия — островная страна, где, казалось бы, никаких контактов с соседями нет, — всё-таки какие-то связи существуют. Кто-то ездит из Исландии во внешний мир, кто-то приезжает в Исландию и приносит с собой какие-то элементы иностранной речи. Так что даже исландский

язык, хотя он более чем какой бы то ни было другой защищен от иностранных влияний, эти влияния всё же в какой-то степени воспринял.

Что же касается языков, тесно общающихся друг с другом на соседних территориях, то тут взаимное влияние и взаимное проникновение бывает очень активным. Особенно активно оно там, где имеется двусоставное, трехсоставное или многосоставное население на одной и той же территории. Но даже если государственные и этнические границы выражены относительно четко, контакты всё-таки достаточно интенсивны. Это выражается, прежде всего, в проникновении в любой из языков какого-то количества иностранных слов. А более глубокое влияние состоит в проникновении некоторых элементов грамматической структуры соседних языков.

В частности, русский язык, не отделенный от своих непосредственных соседей никакими морями, всегда с ними интенсивно контактировал и в направлении запада, и в направлении востока, отчасти в направлении юга и даже до некоторой степени в направлении севера, хотя там население уже не такое плотное. Так что в современном русском языке имеются следы влияний практически со всех четырех сторон света.

Вообще степень иностранных влияний в разные моменты жизни языкового сообщества или данного государства может быть очень разной. Понятно, что эти влияния становятся особенно интенсивными во времена, например, иностранной оккупации или при массивном внедрении нового населения на какую-то часть старой территории и т. п. А в спокойные периоды слабого общения они будут менее интенсивными. Кроме того, нередко бывает, что большему или меньшему иностранному влиянию могут сильно способствовать или наоборот противостоять чисто внутренние события в истории данного сообщества. Совершенно очевидно, что в последние примерно двадцать лет русский язык находится в состоянии необычайно активного впитывания иностранных элементов, прежде всего английских, — с интенсивностью, во много раз превосходящей то, что было всего лишь полвека назад. Это происходит в связи с крупными социальными изменениями, открытием международных контактов в таком масштабе, который был немыслим еще два-три десятилетия назад. Происходит внедрение новой техники, новых элементов иностранной цивилизации и т. д. Все мы это ощущаем на себе.

Такие периоды бывали и в прошлом. Был, скажем, в истории русского языка период интенсивного проникновения элементов французского языка, в более раннюю эпоху — интенсивного проникновения элементов немецкого, а еще раньше — интенсивного проникновения элементов польского.

Приведу кое-какие иллюстрации того, как разнообразно подпитывался современный русский язык словами из других соседних языков. Конечно, влияния касаются не только слов, но об этом рассказывать сложнее, а слова как раз вещь очень наглядная.

Эту историю можно начинать с любой точки — собственно с русского языка или, углубившись в прошлое дальше, с праславянского языка. Можно, вообще говоря, рассматривать даже заимствования праиндоевропейского времени, но это для нас будет слишком далеко. Если начать с праславянского, то существенно указать, что в нем имеется значительный пласт германских заимствований, которые в дальнейшем сохранились не только в русском языке, но и во всех славянских языках. Они прижились и стали частью собственно славянского лексикона.

Сейчас про некоторые из них нам даже трудно поверить, что это не исконно русские слова; но историческая лингвистика неумолимо показывает, что многие слова имеют именно такое происхождение. Например, слово *князь*, как это ни удивительно, есть в точности то же самое слово, что немецкое *König* или английское *king*. Его древняя форма *kuningaz*, которая и была заимствована, со временем дала русское слово *князь*. Или, скажем, слово *хлеб* — это то же самое слово, что английское *loaf* "булка". Данное заимствование, скорее всего, следует относить к периоду широкой экспансии готов, когда эти активные германские племена владели огромными территориями практически всей современной Украины, значительной части Балкан, Италии,

Испании, части Франции и т. д. Так что нет ничего удивительного в том, что во всех языках перечисленных стран остались какие-то следы древнего готского владычества.

О Крыме стоит упомянуть специально, поскольку в Крыму готы дожили до XVI в. Голландский дипломат XVI в. Бусбек с изумлением обнаружил, что понимает некоторые слова в речи жителя Крыма, говорящего на неизвестном языке. Это оказался крымско-готский язык, самый поздний остаток вымершего во всех остальных местах готского языка.

Германскими заимствованиями в славянском являются также, например, слово *полк* или глагол *купить*; в современном немецком соответствующие древнегерманские слова дали *Volk* "народ" и *kaufen* "покупать".

Тут нужно указать, что если слово заимствовано из германского, то германское слово в самом германском не обязательно было исконным. Часто оно само было заимствованием откуда-то еще. Так, германское слово, давшее немецкое *kaufen*, — это заимствование из латыни. А исконно ли соответствующее слово в латыни — это еще вопрос дискуссионный. Ведь нередко оказывается, что латинские слова заимствованы из греческого, а греческие — из египетского.

Возьму слово из другого ряда: *изумруд*. Первоначальные истоки его устанавливаются не вполне надежно. Скорее всего, первоисточником был какой-то семитский язык, откуда слово было заимствовано в санскрит. Из санскрита оно во время походов Александра Македонского было заимствовано в греческий, из греческого — попало в арабский, из арабского — в персидский, из персидского — в турецкий, а из его турецкой формы происходит русское слово *изумруд*. Так что здесь лингвистика может установить шесть или семь этапов «путешествия» этого слова. Некоторая часть иностранных заимствований не вызывает у нас никакого удивления. Например, определенный плод мы называем *киви*. Ясно, что слово нерусское. Еще сравнительно недавно никто не подозревал о том, что такое существует. Какие-нибудь лет 20–30 назад этого слова не было, потому что предмета не было. То есть, когда сам предмет приходит из какой-то дальней страны, довольно очевидно, что он приходит вместе со своим названием. И тогда совершенно естественно, что мы называем его так, как называли там. Таких примеров в русском языке огромное количество, многие сотни. Возможно, даже и тысячи.

Но, конечно, гораздо сильнее впечатляют примеры типа *хлеб*, или *полк*, или *князь*, где кажется, что всё это наше собственное. Скажем, слов *буква* тоже является древнегерманским заимствованием. Это то же самое слово, что название дерева *бук*. Первоначально были деревянные буквые таблички, на которых что-то вырезалось, и, соответственно, сам вырезанный на них знак носил то же название. И вот в русском языке есть оба слова: и *бук*, и *буква* — оба заимствованы из германского.

Еще пример: слово *осёл*; но про него еще можно сказать, что это животное все-таки не на каждом шагу встречается в русских краях, то есть его можно отнести к категории экзотических животных. Но в каких-то других случаях это не получится. Так, германскими заимствованиями являются также слова *стекло*, *котёл*, *художник*, *хижина* и многие другие.

Не буду перечислять заимствования из греческого, они были на протяжении всего существования русского языка. Самые древние из них касаются еще довольно простых слов, например *корабль* или *парус*. *Парус* — это то же самое слово, что греческое *фарос*, — в славянском исполнении. В большом количестве имеются греческие заимствования среди слов высокого стиля. Часть из них заимствованы непосредственно (скажем, *евхаристия* из церковного лексикона), часть — путем калькирования, то есть передачи исходного слова славянскими средствами (*благословение*, *благочестие* и т. п. — всё это кальки, точные эквиваленты греческих сложных слов с их составными частями).

На протяжении длительной истории, начиная еще с праславянского времени и дальше практически до настоящего дня, наблюдается сильное влияние восточных языков на русский. В

этом смысле евроазиатское положение русского языка, имеющего, с одной стороны, контакты в направлении запада, с другой стороны — в направлении востока, сказывается в языке очень отчетливо. Иногда восточные заимствования огрубленно называют татарскими, но это очень условно. В широком смысле они тюркские, поскольку тюркских языков, которые контактировали с русским, много. Это и турецкий, и татарский, и чувашский, и башкирский, и чагатайский — древний литературный язык Средней Азии, и кыпчакский язык половцев, с которыми наши предки контактировали с древности, и язык печенегов. Так что часто не удается установить, из какого конкретно тюркского языка заимствовано то или иное слово, поскольку эти языки близко родственны между собой. Важно то, что этот фонд таких слов в русском языке очень велик.

Понятно, что многие из таких слов обозначают типичные восточные понятия. Но имеется и много слов более общего значения; так, тюркского происхождения, например, такие слова, как *башмак*, *кабан*, *колпак*, *кирпич*, *товар*, *чулан*, *казак*, *казан*, *курган*.

Нередко слово заимствуется не в том значении, которое оно имеет в языке-источнике. Например, слово *кавардак*, которое сейчас обозначает беспорядок, на самом деле вовсе не это значит по-турецки: там это обозначение некоего вида жареного мяса.

Очень часто турецкий или татарский оказываются, как и германский, передатчиками для других восточных языков, в частности, для такого огромного источника лексики всего востока, как арабский язык; другим таким первоисточником бывает персидский, реже китайский.

Таково, например, слово *арбуз*, которое пришло к нам из персидского через тюркское посредство.

Заметим, что такие слова лингвист может опознать как не собственно славянские, даже и не зная их происхождения. Так, слово *арбуз* имеет структуру, ненормальную для славянских языков: корень слова состоит из двух слогов, причем с необычным набором гласных.

На примере этого слова можно даже показать, как вообще лингвисты могут установить, что слово пришло, скажем, из турецкого языка в русский, а не из русского в турецкий.

Это типовая ситуация, которую полезно понимать. Принцип здесь всегда один и тот же: если слово исконное, то оно распадается на осмысленные части в рамках данного языка и имеет в нем родственные слова. Вот, например, в современном французском языке есть слово *закуски*, Это не очень, конечно, активное слово французского языка, но, тем не менее, оно существует. И можно было бы и здесь сказать: «Может быть, наше слово *закуски* заимствовано из французского? Почему нет, если по-французски и по-русски одинаково говорится: *закуски*?»

Ответ очень простой: *закуски* — русское слово, а не французское, потому что по-русски оно прекрасно делится на значимые части: приставка *за*, корень *кус*, суффикс *к*, окончание *и*. Каждая из них осмысленна и уместна. Для корня *кус* можно найти и другие слова, для приставки *за* есть масса других примеров, имеется огромное количество слов с суффиксом *к*. А во французском это слово выпадает из всех норм французского языка. Так французские слова не строятся, ничего похожего нет.

Вот главный критерий: в рамках одного языка слово является естественным, а в других языках оно целым рядом признаков выдает свою инородность и никаких родственных ему слов не находится.

То же и со словом *арбуз*. В персидском это *харбуза*, где *хар* это "осел", а *буза* — "огурец". Вместе получается "ослиный огурец", и, кстати, означает он там не арбуз, а дыню.

Среди слов восточного происхождения тоже немало таких, которые могут нас удивить. Нас не удивит, что слово *изумруд* иностранное: изумруд действительно не слишком часто встречается в русском быту. А вот слово *туман* на первый взгляд производит впечатление русского. Тем не менее, оно родилось в персидском языке, и там его звуковой состав имеет свои основания. Из персидского оно перешло в турецкий, а из турецкого в русский. Аналогичное происхождение имеют, например, *базар*, *амбар*, *чердак*.

Иногда бывают слова обманные. Лингвистически небезынтересно в этом смысле слово *изъян*. Оно обозначает некоторый дефект, недостаток и звучит очень по-русски: что-то изъяли из какого-то предмета или из некой нормы и тем самым он оказался предметом с изъяном. Оказывается, однако, что это вовсе не русское слово, а заимствование из персидского — либо прямое, либо через посредство турецкого.

В персидском это слово с несколько иным порядком фонем: *зиян*; оно означает "недостаток, порок" и вполне выводимо из иранского лексикона. А *изьян* — это форма, которую *зиян* принял в русском языке, то есть слово подверглось некоторому изменению, придавшему ему осмысленность. В самом деле, *зиян* ничего не говорит русскому уху, а *изьян* это уже почти понятно, тем более что уже смысл готов — это "недостаток". Это то, что называется народной этимологией: народ несколько подправляет иностранное слово в сторону большей понятности.

Замечательно, что слово *зиян* в несколько менее явной форме имеется в русском языке еще в одном очень хорошо известном нам слове — *обезьяна*. *Обезьяна* — это арабско-персидское *абузиян*. Слово *зиян* имеет второе значение — "грех, порочное действие". А *абу* — это "отец". Так что *обезьяна* — "отец греха", по причинам вполне понятным.

Свои вклады в русскую лексику вносят и западные языки.

Первым по порядку оказывается ближайший к нам язык западного мира — польский. Это родственный язык, но он гораздо активнее, чем русский, впитал слова западных языков, во-первых, из-за близости к германскому и романскому миру, во-вторых, в силу католицизма. Так что польская лексика насыщена западными элементами несравненно сильнее, чем русская. Но многие из них перешли и в русский. Это произошло в XVI–XVII вв., в эпоху активного польского влияния. Масса новых слов вошла тогда в русский язык; в некоторых случаях польская форма непосредственно видна, в других она устанавливается только лингвистическим анализом. В большинстве случаев, впрочем, это не собственно польские слова, а слова, которые в свою очередь пришли из немецкого, а в немецкий — обычно из латыни. Или в польский они пришли из французского, но попали в русский язык уже в польской форме.

В этот ряд попадают, например, слова *рыцарь*, *почта*, *школа*, *шпага* — все они имеют в русском языке польскую форму. Скажем, в слове *школа* не было бы начального *шк*, было бы *скола*, если бы оно заимствовалось прямо из западных языков. Это эффект перехода через немецкий, который дает *ш* в польском, а из польского это *ш* переходит в русский.

Есть некоторое количество шведских заимствований, например *сельдь*, *селедка*. Одно из замечательных шведских заимствований — это слово *финны*. Потому что, как вы, может быть, знаете, финны не только не называют себя финнами, а, строго говоря, нормальный не очень обученный финн не может даже произнести этого слова, потому что в финском языке нет фонемы *ф*. Финны называют себя *суоми*; а *финны* — это название, которым их называли шведы. В шведском языке фонема *ф* есть, и она встречается часто. В шведском языке это осмысленное слово, со значением "охотники", "искатели" — от шведского глагола *finna* "находить" (= англ. *find*). Это слово вошло не только в русский язык, а во все языки мира, кроме финского. Так что страна называется шведским названием — это такой особо изысканный случай иностранного заимствования.

Следующий культурный и лексический натиск на русский язык совершил немецкий язык, в основном в XVIII, частично в XIX в. Правда, в петровское время — наряду с голландским. В частности, большинство морских терминов заимствовано из голландского языка — в соответствии с увлечениями Петра I и с его прямыми связями с Голландией, где он, как известно, даже поработал плотником. Слова *крейсер*, *скипер*, *флаг* — голландские. Таких слов несколько десятков.

Немецких слов еще больше, поскольку немецкое влияние было шире и длительнее. И опять-таки какие-то из них легко опознаются как немецкие, например *парикмахер*. Но есть и такие слова немецкого происхождения, которые вы никогда не опознали бы без специального анализа. Про слово *рубанок* решительно не приходит в голову, что это не русское слово: кажется, что он так назван, потому что им что-то *срубают* или *рубят*. На самом деле им делают нечто другое, тем не менее, мы воспринимаем это как вполне хорошее название. В действительности же это немецкое слово *Rauhbank* — "доска для зачистки".

Еще хитрее слово *противень*, на котором жарят. Совершенно русского вида слово. Но это немецкое *Bratpfanne* — "сковородка для жарки". Упрощаясь и русифицируясь, *Bratpfanne* дало не просто русское, а народное русское слово *противень*. Есть и вариант *протвень* — тоже не случайный и даже более старый.

Маляр, *танец*, *пластырь*, *солдат*, *аптека* и множество других — все эти слова пришли непосредственно из немецкого языка, но сейчас прижились очень хорошо.

Следующий, XIX в. дал обширный пласт французских заимствований. Многие из них вполне прижились, скажем *бутылка*, *журнал*, *кошмар*, *курьер*, *афера*.

Продолжая этот список, можно было бы привести еще и португальские, испанские, старые английские заимствования. А про новые английские и говорить нечего — вы сами, пожалуй, можете их назвать больше, чем лингвисты.

Вы видите, таким образом, насколько сильно на лексику языка влияют соседние языковые массивы. В частности, для русского языка эта история включает общение как минимум с двумя десятками языков. А если считать единичные случаи, то с дальними связями насчитаются еще десятки.

Перейдем теперь к следующей теме: поговорим о стилевых различиях внутри русского языка в разные моменты его истории. Оказывается, что и в этом отношении русский язык с древних времен находится в непростой ситуации.

Для всех языков с определенной культурной традицией нормально, что есть язык высокого стиля, воспринимаемый как более возвышенный, более очищенный, литературный. И далеко не всегда эта ситуация складывается одинаково. Так, есть языки, где в качестве высокого стиля используется один из вариантов, говоров, диалектов, существующих в пределах данного же языка, который по какой-то причине получил большой престиж. На территории Италии долгое время наиболее престижным считался говор Флоренции и, соответственно, тосканский диалект со времен Данте принимался за самую изысканную, высоко литературную форму речи на Апеннинском полуострове.

А в некоторых языках складывается ситуация, когда в качестве языка высокого стиля используется не свой язык, а некоторый иностранный. Иногда он может быть даже не родственным собственному, тогда это чистое двуязычие. Но чаще встречаются примеры такого рода с использованием другого языка, близкородственного тому, на котором говорит народ. В романском мире в течение всех средних веков в качестве высокого языка использовалась латынь, при том что собственные языки этих романских народов из латыни происходят и латынь им в какой-то степени близка. Не настолько, чтобы понимать, но, во всяком случае, у них масса общих слов.

Подобную роль в Индии играл санскрит. Его использовали наряду с теми языками, которые уже очень далеко ушли от санскритского состояния и использовались в бытовом общении. В сущности, нечто подобное есть и в нынешнем арабском мире, где существует классический арабский язык Корана, который уже сильно отличается от живых языков Марокко, Египта, Ирака. Высоким языком, который считается единственно пригодным для определенного типа текстов — религиозных, высокочественных, — остается для арабского мира классический арабский. А для бытового общения существует язык улицы.

Подобная ситуация была и в истории русского языка. Я привел иностранные примеры, чтобы показать, что это не уникальный случай, хотя, конечно, далеко не во всех языках ситуация однотипна. В истории русского языка с того времени, когда мы имеем дело со словом *русский*, существует и используется два славянских языка: собственно русский и церковнославянский.

Церковнославянский — это, в сущности, древнеболгарский язык, близкородственный, но всё же не тождественный русскому. Он был языком церкви и любого текста, от которого требуется стилистическая возвышенность. Это наложило отпечаток на дальнейшее развитие русского языка на протяжении всей его истории и продолжает в какой-то степени оказывать влияние до сих пор. Русский язык оказался как бы лингвистически раздвоен на то естественное, что возникало в бытовом, разговорном языке, и то, что соответствовало русским формам и синтаксическим оборотам в церковнославянском языке.

Самое броское различие вы, конечно, знаете: это так называемое полногласие и неполногласие. Полногласие — это *сторона, сторож, берег, голова* с *-оро-, -ере-, -оло-*, а неполногласие — *страна, страж, брег, глава*. Русская форма имеет здесь две гласных, а церковнославянская одну.

Сейчас мы с вами совершенно не воспринимаем слово *страна* как что-то нам чуждое. Это нормальная часть нашего с вами естественного лексикона. И для нас совершенно естественно сказать *глава книги*, и не приходит в голову, что это что-то навязанное. Нам не хочется говорить *голова книги*, точно так же, как мы не будем пытаться называть страну *стороной*.

Русский язык на протяжении своей истории впитал огромное количество церковнославянских слов, которые изредка значат то же самое, что в русском, но почти никогда на сто процентов. Иногда просто совсем не то же самое; так, *голова* и *глава* — это совершенно разные значения, они вполне могли бы называться словами, которые между собой вообще ничего общего не имеют.

В других случаях это всего лишь стилистический оттенок, но он отчетливо чувствуется. Скажем, *враг* и *ворог* — это, конечно, более или менее одно и то же по значению, однако в слове *ворог* имеется коннотация народности, фольклорности, поэтичности, которое в слове *враг* отсутствует.

Современный русский язык использовал эти церковнославянские единицы в качестве отдельных слов или отдельных вариантов слова и тем самым их уже освоил.

То же самое происходило в истории русского языка и с синтаксическими конструкциями. И тут надо сказать, что, поскольку на протяжении большей части истории русского языка литературным и высоким был именно церковнославянский, наш с вами литературный синтаксис гораздо более церковнославянский, чем русский.

Тут я действительно выражаю свое огорчение. Потому что ныне во многом утрачен тот подлинный народный русский синтаксис, который лучше всего виден на берестяных грамотах. Они как раз во многом именно тем и восхищают, что в них совершенно нет церковнославянских оборотов, — это чистый разговорный русский язык. В отличие от нашего с вами литературного языка. Русский литературный язык на каждом шагу пользуется синтаксическими приемами, которые в живом языке не встречаются, а идут из церковнославянского.

Это, прежде всего, практически все причастия: *делающий, делавший, видевший, виденный* и т. д. Единственное исключение составляют краткие формы страдательных причастий прошедшего времени. *Сделано* — это русская форма, *выпито* — это русская форма. А вот полная форма: *сделанный* — уже церковнославянская. И все причастия на *-ущий, -ющий* церковнославянские, что видно уже и из того, что там суффиксы *-ущ-, -ющ-*. Я не сказал об этом, но вы, наверное, и сами знаете про соотношение церковнославянского *щ* и русского *ч*. *Ночь, мощь* — церковнославянское, *ночь, мочь* — русское. Для *-ущий, -ющий, -ящий* русские соответствия, следовательно, были бы *-учий, -ючий, -ячий*. Они есть в русском языке, но по-русски это уже не причастия, а просто прилагательные: *кипучий, дремучий, стоячий, сидячий, лежащий*. Их значение близко к причастиям, но всё же не одинаково с ними. А настоящие причастия, которые можно использовать в синтаксисе именно как глагольную форму (и которые мы действительно научились применять как удобное синтаксическое средство, потому что они помогают нам, например, спастись от лишнего слов *который*), представляют собой церковнославянизм.

Менее известно другое явление этого рода. В бытовом разговоре мы часто отклоняемся от того, как мы должны были бы написать, если бы сдавали редактору свое литературное сочинение. И вы не получили бы одобрения, если бы в вашем школьном сочинении вы начали фразу так: *А знаете, что я вчера видел*. Между тем начальное *а* — это совершенно нормальная форма разговорной русской речи: *А вот что я вам скажу. А после этого было то-то и то-то*. В живой речи с *а* начинается едва ли не большинство предложений. И это ровно то, что мы наблюдаем в берестяных грамотах. Слово *а* в начале фразы означает примерно следующее: «Вот что я сейчас вам скажу». Но в нормах церковнославянского языка это слово отсутствовало. Церковнославянская норма его не только не употребляла, но и запрещала употреблять. То есть запрещала, конечно, не в смысле государственного эдикта, а в смысле редакторского давления, которое действует до сих пор. Редактор вам это *а* зачеркнет и сейчас.

Извините меня, это теперь устарело, редакторов сейчас почти нет. Но в недавнем прошлом редакторы были важнейшей частью любого издательского дела. Это сейчас масса книг выходит с чудовищными опечатками и огрехами всех родов, потому что их не редактировали вовсе; наступила новая эпоха с невнимательным отношением к качеству текста. Но еще сравнительно недавняя эпоха требовала фактически соблюдения церковнославянской нормы, хотя редактор, конечно, этого не знал. Эту норму соблюдает и русская литература, при том что те же самые авторы в бытовой речи, обращаясь к собственным детям или жене, говорили, конечно, нормальным русским языком, почти каждое предложение начиная с *а*.

Подобные детали показывают, что двусоставность русского языка, имеющего два источника: русский и церковнославянский, — выражается не только в выборе слов и в их формах, но и в синтаксисе. И русский литературный синтаксис тем самым заметно отличается от русского разговорного синтаксиса.

Недаром примерно лет 25 назад возникло новое направление в изучении русского языка — изучение русской разговорной речи. Для нее стали писать свои грамматики, ее стали описывать так, как если бы это был отдельный самостоятельный язык, с уважением к каждому элементу того, что реально слышится. Сама возможность и сама необходимость так к этому подходить в значительной степени является следствием вот этой древней ситуации, сложившейся в X в.,

тысячу с лишним лет назад, когда на Русь в качестве литературного и высокого языка пришел родственный, но другой язык — церковнославянский.

Перейду к следующему аспекту.

Это тот аспект истории русского языка, который имеет отношение к диалектам и говорам, к диалектному членению и взаимодействию. Традиционную схему в самом общем виде я вам изложил выше. Она состоит в том, что примерно в X в. имелся единый древнерусский язык, он же восточнославянский, из которого со временем путем разветвления, развития каких-то различий произошли три современных восточнославянских языка: русский, украинский, белорусский. А в каждом из этих трех языков по традиционной же схеме имеются еще более тоненькие ветви. В русском языке имеется, скажем, вологодский, архангельский, новгородский, курский говор, сибирские говоры и т. д. На Украине также можно выделить целый ряд говоров; то же и в Белоруссии. А внутри, например, блока вологодских говоров выделяются еще маленькие группки каких-то районов или даже иногда отдельных деревень. Вот такое дерево, которое ветвится от мощного ствола до самых мелких веточек в конце.

Такова простая традиционная схема. Но в нее, как я вас уже предупредил, придется вносить некоторые коррективы. В значительной степени эти коррективы возникли после открытия берестяных грамот.

Берестяные грамоты, которые в громадном своем большинстве происходят из Новгорода, показали, что в Новгороде и на окружающих его землях существовал говор, сильнее отличавшийся от остальных, чем представляли себе до открытия берестяных грамот. В нем даже некоторые грамматические формы были не такие, как в классическом известном нам из традиционной литературы древнерусском языке. И, конечно, были и некоторые свои слова.

При этом удивительное, неожиданное и непредсказуемое с точки зрения существовавших до открытия берестяных грамот представлений событие состояло в следующем: оказалось, что эти черты новгородского диалекта, отличавшие его от других диалектов Древней Руси, ярче всего выражены не в позднее время, когда, казалось бы, они могли уже постепенно развиться, а в самый древний период. В XI–XII вв. эти специфические черты представлены очень последовательно и четко; а в XIII, XIV, XV вв. они несколько ослабевают и частично уступают место более обычным для древнерусских памятников чертам.

Точнее говоря, просто изменяется статистика. Так, в древненовгородском диалекте именительный падеж единственного числа мужского рода имел окончание *-е*: *скоте* — это новгородская форма, в отличие от формы традиционной, которая считалась общерусской, где то же самое слово имело другое окончание: в древности *-ь*, а ныне нулевое. Разница между общедревнерусским *скоть* и новгородским *скоте* обнаруживается с древнего времени. И ситуация выглядит так: в грамотах XI–XII вв. форма именительного падежа единственного числа мужского рода примерно в 97% случаев имеет окончание *-е*. А оставшиеся 3% легко объясняются некоторыми посторонними причинами, например тем, что фраза церковная. Отсюда можно заключить, что в древний период окончание *-е* было практически единственным грамматическим оформлением для именительного падежа единственного числа. А в грамотах XV в. картина уже существенно иная: примерно 50% *скоте* и 50% *скоть*.

Мы видим, таким образом, что черты древненовгородского диалекта с ходом времени частично теряют свою яркость. Что это значит и почему это была такая новость и неожиданность для лингвистов?

Это значит, что наряду с традиционной схемой, которая выглядит как разветвляющееся дерево, приходится признать в истории языков также и противоположное явление. Явление, состоящее в том, что нечто первоначально единое делится на несколько частей, носит название *дивергенции*, то есть расщепления, расхождения. Если же имеет место обратное явление, то есть нечто первоначально различное становится более похожим, то это *конвергенция* — схождение.

Про конвергенцию было мало что известно, и само ее существование в истории говоров и диалектов древнерусского языка практически никак не обсуждалось и не привлекало внимания. Поэтому свидетельства берестяных грамот оказались такими неожиданными. Если в древненовгородских берестяных грамотах XI–XII в. окончания типа *скоте* составляют 100%, а в XV веке — только 50%, а в остальных 50% выступает центральное (можно условно обозначить его как московское) окончание *скоть* — это значит, что происходит сближение говоров. Частичное сближение, новгородский говор еще не теряет совсем своих черт, но выражает их уже

непоследовательно в отличие от древности, когда это было последовательно. Мы видим типичный пример конвергенции, то есть сближение того, что первоначально было различным.

И это заставляет основательно пересмотреть традиционную схему того, как были устроены диалектные отношения Древней Руси. Приходится признать, что в X–XI вв., то есть в первые века письменной истории, на территории восточного славянства членение было вовсе не таким, как можно себе представить на основании сегодняшнего разделения языков: великорусский, украинский, белорусский. Оно проходило совсем иначе, отделяя северо-запад от всего остального.

Северо-запад — это была территория Новгорода и Пскова, а остальная часть, которую можно назвать центральной, или центрально-восточной, или центрально-восточно-южной, включала одновременно территорию будущей Украины, значительную часть территории будущей Великороссии и территории Белоруссии. Ничего общего с современным делением этой территории на три языка. И это было действительно глубокое различие. Существовал древненовгородский диалект в северо-западной части и некоторая более нам известная классическая форма древнерусского языка, объединявшая в равной степени Киев, Суздаль, Ростов, будущую Москву и территорию Белоруссии. Условно говоря, зона *скоте* на северо-запад и зона *скоть* на остальной территории.

Скоте и *скоть* — это одно из очень существенных различий. Было еще одно весьма важное различие, о котором я не буду сейчас говорить, потому что для этого потребовалось бы очень много времени. Но оно такое же основательное, и территориальное разделение здесь было точно такое же.

Может показаться, что северо-западная часть была маленькой, а центральная и южная часть — очень большой. Но если учесть, что в это время новгородцами уже была колонизована огромная зона севера, то на самом деле новгородская территория оказывается даже больше, чем центральная и южная. В нее входят нынешняя Архангельская область, Вятская, северный Урал, весь Кольский полуостров.

А что будет, если мы заглянем за рамки восточного славянства, посмотрим на западнославянскую территорию (поляки, чехи) и южнославянскую территорию (сербы, болгары)? И попытаемся как-то продолжить в этих зонах обнаружившуюся линию разделения. Тогда окажется, что северо-западная территория противопоставлена не только Киеву и Москве, но и всему остальному славянству. Во всем остальном славянстве представлена модель *скоть*, и только в Новгороде — *скоте*.

Тем самым обнаруживается, что северо-западная группа восточных славян представляет собой ветвь, которую следует считать отдельной уже на уровне праславянства. То есть восточное славянство сложилось из двух первоначально разных ветвей древних славян: ветви, похожей на своих западных и южных родственников, и ветви, отличной от своих родственников, — древненовгородской.

Похожие на южно- и западнославянскую зоны — это прежде всего киевская и ростово-суздальская земля; и существенно то, что при этом между ними самими для древнего периода мы не видим никаких существенных различий. А древняя новгородско-псковская зона оказывается противопоставлена всем остальным зонам.

Таким образом, нынешняя Украина и Белоруссия — наследники центрально-восточно-южной зоны восточного славянства, более сходной в языковом отношении с западным и южным славянством. А великорусская территория оказалась состоящей из двух частей, примерно одинаковых по значимости: северо-западная (новгородско-псковская) и центрально-восточная (Ростов, Суздаль, Владимир, Москва, Рязань).

Как мы теперь знаем, это и были в диалектном отношении две главные составные части будущего русского языка. При этом нелегко сказать, какая из этих двух частей в большей мере поучаствовала в создании единого литературного языка. Если считать по признакам, то счет оказывается примерно 50 на 50.

Как уже было сказано, центральные и южные говоры древнерусского языка отличались от новгородского рядом важных признаков, а друг от друга ничем существенным не отличались. Новые границы между будущей Великороссией и будущей Украиной вместе с Белоруссией в значительной степени совпадают с политическими границами Великого княжества Литовского в XIV–XV вв., когда экспансия Литвы привела к тому, что будущие Украина и Белоруссия оказались под властью Литвы. Если нанести на карту границы владений Великого княжества Литовского в XV в., это будет примерно та же граница, которая сейчас отделяет Российскую Федерацию от

Украины и Белоруссии. Но XV в. — это позднее время по отношению к нашему древнему членению.

Рассмотрим более конкретно ряд диалектных явлений и их соответствия в современном литературном русском языке.

Слова со структурой корня типа *целый*, с начальным *це-* (из прежнего *цѣ-*), характерны для центрально-восточного региона. На северо-западе эти корни имели начальное *ке-*. За этим стоит очень важное фонетическое явление, о котором можно рассказывать длинно; но здесь я вынужден ограничиться простой констатацией данного факта. Другой относящийся к данной теме факт состоит в том, что на северо-западе говорили *на руке*, в то время как на востоке было *на руце*. Сейчас мы говорим *целый*, но *на руке*. Это не что иное, как соединение того *целый*, которое идет с востока, с тем *на руке*, которое идет с северо-запада.

Форма именительного падежа единственного числа мужского рода на северо-западе была *городе* (так же, как *скоте*). А на востоке она была *городь*. Современная литературная русская форма, как мы видим, идет с востока.

Родительный падеж единственного числа женского рода: на северо-западе — *у сестре*, на востоке — *у сестры*. Литературная форма — восточная.

Предложный падеж: на северо-западе *в земле*, *на коне*, на востоке — *в земли*, *на кони*. Литературные формы — северо-западные.

Множественное число женского рода (возьмем пример с местоимением): на северо-западе — *мое корове*, на востоке — *мои коровы*. Литературная форма — восточная.

Бывшее двойственное число *два села* — это северо-западная форма. Восточная форма — *две селе*. Литературная форма — северо-западная.

Повелительное наклонение: северо-западное *помоги*, восточное *помози*. Литературная форма — северо-западная.

Третье лицо настоящего времени глагола: на северо-западе *везе*, на востоке — *везеть*. Литературная форма — восточная.

Повелительное наклонение: северо-западное *везите*, восточное — *везете*. Литературная форма — северо-западная.

Деепричастие северо-западное *везя*, восточное — *веза*. Литературная форма — северо-западная. Вы видите, что соотношение действительно примерно 50 на 50. Вот что в морфологическом отношении представляет собой наш современный русский язык. Это наглядный результат конвергенции двух основных диалектов — как будто картонная колода, где две половины колоды вставлены друг в друга.

Лингвистика в каких-то случаях может дать если не окончательный, то предположительный ответ, почему в отдельных пунктах побеждал северо-западный член пары, а в других восточный. Иногда может, иногда не может. Но это не самое существенное.

Существен прежде всего сам факт, что современный литературный язык очевидным образом соединяет черты древнего северо-западного (новгородско-псковского) диалекта и древнего центрально-восточно-южного (ростово-суздальско-владимирско-московско-рязанского). Как я уже говорил, до открытия берестяных грамот этот факт был неизвестен. Представлялась гораздо более простая схема ветвящегося путем чистой дивергенции дерева.

Отсюда вытекает, между прочим, весьма существенное для каких-то нынешних уже не лингвистических, а социальных или даже политических представлений следствие. Это то, что неверен популярный на нынешней Украине лозунг исконного древнейшего отличия украинской ветви языка от русской. Эти ветви, конечно, различаются. Сейчас это, безусловно, самостоятельные языки, но древнее членение проходило вовсе не между русским и украинским. Как уже было сказано, ростовско-суздальско-рязанская языковая зона от киевско-черниговской ничем существенным в древности не отличалась. Различия возникли позднее, они датируются сравнительно недавним, по лингвистическим меркам, временем, начиная с XIV–XV вв. И, наоборот, древние отличия между северо-западом и остальными территориями создали особую ситуацию в современном русском языке, где сочетаются элементы двух первоначально различных диалектных систем.

ВЕЛИКИЙ, МОГУЧИЙ РУССКИЙ ЯЗЫК

Доктор филологических наук Игорь МИЛОСЛАВСКИЙ, МГУ им. М. В. Ломоносова.

Чтобы оставаться великим и могучим, язык должен обладать способностью откликаться на все явления жизни, постоянно расширяя словарный запас новыми понятиями. Правомерно ли утверждение, что творческое начало сохранилось в русском языке и по сей день?

В нашем обществе существует множество разнообразных мифологических («не соответствующих реальной действительности») представлений, которые, однако, укоренились в сознании людей весьма прочно. Немало мифологических представлений относится и к такому феномену, как русский язык. Речь, разумеется, идёт не о частных вопросах, касающихся, например, происхождения, правописания или произношения того или другого слова. А в осмыслении вопросов о том, 1) для чего существует язык; 2) как, почему и для чего он, хотя и довольно медленно, изменяется и насколько такие изменения могут быть сознательными; 3) какие цели стоят перед человеком, изучающим свой родной язык, и какова иерархия этих целей.

По всем этим вопросам в головах не только «человека с улицы», но даже авторов многих школьных учебников по русскому языку сформировались либо ложные, либо путанные представления.

Миф первый: язык — это система, требующая изучения ради себя самой. Именно эта идея лежит, в частности, в основе обучения различного рода школьным разборам. Давая определения, каким способом образованы, например, слова **построить**, **лужок** или **приземлиться** (собственно — префиксальным, суффиксальным и суффиксально-префиксальным), мы никак не выходим за пределы тех единиц, которые в самом языке выделены (приставок и суффиксов). Определяя слова **столы**, **сани**, **духи** как существительные множественного числа, мы поступаем абсолютно правильно, действуя в рамках грамматики. Ведь все эти слова не только имеют окончания, указывающие на «множественность», но и требуют форм множественного числа от других связанных с ними слов, то есть **хорошие**, **старые**, **крепкие** и т.п., а **нехороший**, **старый**, **крепкий**; **хорошая**, **старая**, **крепкая**; **хорошее**, **старое**, **крепкое**.

Но одинаковое грамматически является абсолютно различным содержательно. Слово **столы** сообщает о том, что **столов** больше, чем один, слово **сани**, называя считаемый предмет, ничего не сообщает о реальном количестве саней, как и слово **духи** о количестве соответствующего вещества. Определяя падеж существительных в словосочетаниях **Ивану весело**, **сказать Ивану**, **пошёл к Ивану** совершенно верно как дательный, мы упускаем из вида, что в первом примере так обозначен субъект состояния, во втором — адресат действия, а в третьем — направление движения. В предложении **Приказ подписал директор** директор — подлежащее, а приказ — дополнение, но в предложении **Приказ подписан директором** — всё уже наоборот: приказ — подлежащее, а директор — дополнение. Однако за принципиальными грамматическими расхождениями стоит обозначение одной и той же в обоих случаях ситуации.

На самом деле язык — это не самоценная система, но система обозначений действительности. Она требует изучения не сама по себе, но в первую очередь в качестве средства, способного назвать факты, явления, свойства, процессы, имеющие место в действительности.

Язык — это система знаков. А знак, как известно, непременно обладает по крайней мере двумя сторонами: формой и содержанием. И если форма языковых знаков — это, прежде всего, звуки (для устной речи) и буквы (для письменной), то содержание языковых знаков — это окружающая нас действительность. Причём включающая в себя не только то, что можно воспринять органами чувств, но и представления людей об этой действительности, её оценку, человеческие фантазии и т.п.

Отсюда вывод — чем больше феноменов и аспектов действительности может обозначать тот или иной язык, тем лучше для людей, пользующихся этим языком. Иначе: чем больше в языке различных по значению слов, тем лучше. Таким образом, язык можно сравнить с зеркалом, отражающим некоторое пространство.

Конечно, можно изучать само зеркало, его дизайн, крепление и прочее, что, без сомнения, представляет существенный интерес для производителей зеркал и для тех, кто зеркала ремонтирует. Однако несоизмеримо большее число людей интересует другой вопрос — насколько хорошо отражает наше зеркало пространство. Нет ли в изображении тёмных мест или мёртвых зон, неадекватных увеличений или уменьшений, не искривляет ли зеркало изображаемое, а если да, то что именно, где и как?

Совершенно очевидно, что разные языки, в зависимости от особенностей жизни говорящих на них людей, отражают разные стороны жизни более полно или более бедно. Хрестоматийным является пример с десятками названий разных типов снега в языках народов, занимающихся оленеводством. Ведь для этого вида деятельности качество снега имеет огромное значение, поскольку именно оно определяет возможность или невозможность и передвижения, и получения пищи, и устройства жилья, и даже сохранения жизни как людей, так и животных. В языках тех народов, которые не включились в научно-технические инновации, тщетно искать слова-термины современной науки, например нанотехнологий. Когда в России отсутствовали рыночные экономические отношения, в языке, естественно, не существовало в обиходе и таких слов, как **франшиза, брокер, толлинг**, и многих других. А само слово **бизнесмен** обозначало почти то же самое, что **спекулянт** и имело только отрицательный оценочный компонент.

В настоящее время, по весьма огрублённым подсчётам, словари английского литературного языка содержат порядка 400 тысяч слов, немецкого — порядка 250 тысяч, русского — порядка 150 тысяч. Конечно, вопрос о количестве слов литературного языка не так прост, как это может показаться на первый взгляд. Во-первых, многие слова, с абсолютно тождественной формой, соотносятся не с единственным феноменом внешней действительности. Если эти феномены весьма далеки друг от друга, это явление принято называть омонимией (**коса** — орудие, волосы, часть суши). Если близки — перед нами явление многозначности (ср. **долгое сидение** — и **удобные сиденья, увидел школу и прошёл большую школу**). Различия в плане содержания, несмотря на внешнее тождество, требуют считать все эти приведённые значения разными словами.

С другой стороны, в русском языке, например, немало слов, по форме далёких друг от друга, но значения которых абсолютно тождественны (**глядеть** и **смотреть, кидать** и **бросать, везде** и **всюду, козявка** и **букашка**). Эти пары слов следовало бы считать за одно слово, поскольку за их противопоставлением не стоит никаких различий в отражаемой действительности. Подобные случаи никак не следует путать с истинным богатством языка — с синонимией. Так называют противопоставления слов, за которыми стоят либо реальные различия в обозначаемом (**улыбаться** — **смеяться** — **хохотать, влажный** — **мокрый, выборы** — **референдум**), либо различия в субъективной авторской оценке (**разведчик** — **шпион, рачительный** — **скупой, стабильность** — **застой**) или в характере отношений с собеседником (**похитить** — **украсть** — **спереть, супруга** — **жена** — **баба, туалет** — **уборная** — **сортир**).

Однако при любом характере подсчётов становится очевидным, что по количеству слов — а главное, по темпам их увеличения в последние десятилетия — русский язык отстаёт от других мировых языков, и в первую очередь от ведущего на сегодня мирового языка — английского. Признание этого очевидного факта покушается ещё на один миф относительно русского языка. О том, что наш язык настолько богат и велик, что может вызывать к себе только гордость, уважение и восторг. В нём нет слабостей и несовершенств. Напомню те высказывания, опираясь на которые у нас и сложился этот миф.

«Карл Пятый, римский император, говаривал, что испанским языком с Богом, французским — с друзьями, немецким — с неприятелями, итальянским — с женским полом говорить прилично. Но если бы он российскому языку был искусен, то, конечно, к тому присовокупил бы, что им со всеми оными говорить пристойно, ибо нашёл бы в нём ВЕЛИКОЛЕПИЕ испанского, ЖИВОСТЬ французского, КРЕПОСТЬ немецкого, НЕЖНОСТЬ итальянского, сверх того богатство и сильную в изображениях КРАТКОСТЬ греческого и латинского языков» (выделения И. М.) (М. В. Ломоносов)

«Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины — ты ОДИН мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык! Не будь тебя — как не впасть в отчаяние при виде всего, что совершается дома? Но нельзя верить, чтобы ТАКОЙ язык не был дан великому народу!» (выделения И. М.) (И. С. Тургенев)

Однако не будем забывать, что эти и другие высокие и справедливые оценки нельзя механически переносить на русский язык конца XX — начала XXI века, хотя бы потому, что язык постоянно

должен отвечать на вызовы действительности, каждодневно обогащающейся новыми артефактами, интеллектуальными представлениями и оценками, общественными и иными инновациями.

Как известно, многие появляющиеся в жизни феномены получают в русском языке именование с помощью заимствованных слов или корней. В связи с этим полезно вспомнить П. А. Вяземского, утверждавшего, что «русский язык похож на богача, у которого лежат золотые слитки в подвале, но часто нет двугривенного на извозчика... Поневоле займёшь у первого встречного». В самом деле, в русском языке можно найти не только, так сказать, «лишние» слова, то есть такие, которые по-разному обозначают одно и то же явление. Одновременно нетрудно обнаружить и такие «участки» действительности, которые явно требуют заполнения, но необходимые для этого слова отсутствуют. Приведу примеры.

Как назвать чувство, которое испытывает человек, когда слышит справедливую критику в адрес кого-либо из своих родных или близких? Конечно же протест, гнев, возмущение, негодование. А если ясно, что критика справедливая, возникающие переживания оказываются более сложными и противоречивыми, но подходящего слова для их обозначения нет. (**Смешанное чувство** представляет собой слишком широкое именование.)

Едущий на транспорте без билета — **заяц**. А пытающийся занять пустые кресла в первых рядах партера обладатель билета на балкон — кто? Кажется, и для этой весьма распространённой ситуации нет соответствующего слова. Есть у нас слово **завидовать**. Оно обозначает ситуацию, когда X имеет A, а Y, не имеющий A, испытывает по отношению к X плохие чувства. Говорят о чёрной зависти, когда плохие чувства Y в отношении X доходят до желания X самых страшных бед. Но бывает зависть белая, когда Y просто тоже хочет иметь то, что есть у X, не испытывая при этом никаких плохих чувств к X. Представим, однако, и другую, вполне реальную ситуацию, когда X имеет A, а Y, не имея A, рад этому, поскольку считает такое положение справедливым. «X рад за Y» обозначает ситуацию неточно, поскольку в таком обозначении отсутствует A, которым обладает Y и не обладает другой участник. Обозначить обсуждаемую ситуацию кратко и точно мы едва ли в состоянии.

Напомню также о не всегда желательной двусмысленности, возникающей, например, при употреблении слов **могу** или **должен**. Нам нередко неясно, идёт ли речь о моральных или физических аспектах. Или о двусмысленности относительно продолжительности действия, связанной со многими глаголами несовершенного вида. «**Он ленится**» — морально? Физически? В данный момент? В некоторый период? Всегда? «**Он танцует**» — в данный момент? Часто?

Говоря короче, русский, как и всякий другой язык, при всех его очевидных и неоспоримых достоинствах отнюдь не идеальное по своему устройству зеркало, предназначенное для отражения реальности. В нашем зеркале имеются не только «лишние» части, но и некоторые тёмные области.

Особая тема — слова-термины новейших исследований в области естественных наук. Там отечественные учёные либо просто пишут английские слова русскими буквами, либо переводят их буквально. Не задумываясь при этом, что таким образом они безоговорочно становятся в фарватер концепций других учёных. Ведь разные языки могут несколько по-разному членить действительность, открывая в ней в одном случае одни, а в другом — иные грани. Например, английское слово **oil** обозначает и нефть, и растительные жиры (но не животные жиры, для которых существует слово **butter**). А русское слово **масло** обозначает жиры любого происхождения, растительные и животные, но не нефть, для которой имеется специальное слово. Безоговорочно принимая иноязычную терминологию, мы не только полностью принимаем соответствующий взгляд на эту область, но и исключаем сколько-нибудь иное собственное её видение.

Это невнимание именно к содержательной стороне языкового знака базируется на третьем мифе относительно русского языка. Согласно этому мифу, владение родным языком заключается в соблюдении формальных норм орфографических и пунктуационных — при письме и орфоэпических — при говорении. Действительно, соблюдение норм — очень важный показатель культуры человека. Один из депутатов Государственной думы прямо заявил, что средством определения культуры человека для него служит то, произносит ли он **прецеДент** или **прецеНдент**, **звонИт** или **звОнит**.

Всё наше обучение языку ориентировано на возможность применения правил орфографии и пунктуации. Зачем определять род существительного? А затем, чтобы писать **ь** после шипящих

звуков в словах женского рода и не писать его в словах мужского рода. Зачем уметь выделять в словах приставки, корни и суффиксы? Затем, в частности, что правила написания **ы** или и после **ц** в корнях — одни, а в суффиксах и окончаниях — другие. Зачем отделять простые предложения от сложных, а внутри последних выделять ещё сочинённые и подчинённые? А затем, что именно такое противопоставление определяет постановку знаков препинания. Замечу, что одна и та же ситуация может быть более или менее адекватно обозначена формально разными способами: «Пошёл дождь, и мы вернулись — Мы вернулись, потому что пошёл дождь — Мы вернулись из-за дождя».

Убеждённость в том, что знание родного, русского, языка — это именно умение писать без ошибок, проникло так глубоко, что руководители ряда регионов предлагали ввести диктант для чиновников как экзамен по русскому языку.

Полезно, однако, задуматься над тем, какую реальную жизненную ситуацию использования языка моделирует именно диктант. Если нам надо сохранить или размножить какой-либо текст, то мы, вероятнее всего, обратимся к ксероксу (для письменного текста) или к диктофону (для устного). Вряд ли мы станем этот текст самостоятельно записывать, тревожась в первую очередь, если не исключительно, отсутствием в записи орфографических или пунктуационных ошибок. Никак не умаляя культурной ценности умения писать без ошибок, обращусь к таким источникам, как, например, письма родным с фронта. Эти пронзительные человеческие документы мы в самую последнюю очередь будем оценивать с точки зрения орфографии и пунктуации. То же самое можно сказать и о рукописях многих замечательных русских писателей. Сила их текстов состоит вовсе не в том, что все запятые стоят на своих местах, как и безударные гласные, непронизимые согласные, мягкий и твёрдый знак и т.д. и т.п.

В действительности уровень владения родным литературным языком определяется способностью человека точно и полно понимать всё, что он читает или слышит, а также его умением выразить абсолютно точно свои собственные мысли и чувства в зависимости от условий и адресата общения. Очевидно, что соблюдение нормативных правил существенно лишь при создании собственных письменных и устных текстов. И как бы ни было важно для характеристики пишущего и говорящего соблюдение им нормативных правил, такое соблюдение никогда не может быть целью и смыслом общения. Цель и смысл общения — в обозначении реальности и в передаче своих представлений о ней адресату. Соблюдение (или несоблюдение) языковых норм лишь облегчает (или затрудняет) процесс коммуникации, встраивает (или не встраивает) его в соответствующую культурную традицию.

Итак, следует различать, с одной стороны, развиваемую способность отдельного человека наилучшим образом понимать сказанное или написанное другим, а также наилучшим образом выражать собственные мысли и чувства. А с другой стороны, возможности, которые предоставляет для такого выражения соответствующий язык, его лексический состав и грамматический строй.

Русский литературный язык сформировался в основном к середине XIX века. Его формирование происходило под воздействием трёх сил: активного языкового творчества народа — носителя русского языка, усилий профессиональных филологов, а также творчества выдающихся русских писателей. При этом многие замечательные деятели русской культуры, например Н. М. Карамзин, выступали одновременно в ипостасях и филологов и писателей. Особая роль в создании русского литературного языка принадлежит А. С. Пушкину, заслуга которого, по словам академика В. В. Виноградова, состоит в том, что он «открыл шлюзы» в литературный язык многим словам, принадлежавшим прежде только народной речи. Добавлю, что гениальность А. С. Пушкина состоит в первую очередь в его умении всякий раз выбирать именно те слова, которые точнее всего отражают авторскую мысль и наиболее уместны в данной ситуации. Замечательным памятником той же эпохе стал словарь живого великорусского языка, созданный В. И. Далем. Впрочем, при всём благоговейном отношении к труду В. И. Даля едва ли можно считать этот источник хоть сколько-нибудь адекватно отражающим русскую (российскую) действительность начала XXI века.

Современники В. И. Даля не только вводили в литературный язык необходимые для адекватного отражения действительности слова из народной речи, но и сами изобретали нужные для этой цели слова. Например, словом **промышленность** мы обязаны Н. М. Карамзину, словом **стусеиваться**, как принято считать, Ф. М. Достоевскому, создание слова **интеллигенция** принято приписывать П. Д. Боборыкину, однако недавно выяснилось, что ещё В. А. Жуковский употребил его в своём дневнике за 1836 год. Слово **отсебятина** придумал К. П. Брюллов. Под критическим наблюдением

специалистов-филологов литературный язык обогащался и за счёт народной речи, и благодаря усилиям деятелей культуры новыми словами, закрывающими те лакуны (или прорехи) в обозначении многогранной и изменчивой действительности, которые обнаруживала в нём речевая практика.

Активное создание новых слов в начале XX века связано, прежде всего, с именами В. Хлебникова и В. Маяковского. Однако «новое» искусство не столько заботилось о том, чтобы дать именованию неназванному. Его цель чаще состояла в нахождении нового, более эмоционального, незатёртого именованного для того, что уже имело своё название. А академическая филологическая наука в условиях советского режима сосредоточилась почти исключительно на формальных, нормативных аспектах, связанных с орфографией, пунктуацией и орфоэпией. Изучение фонетической стороны языковых знаков привело учёных к исключительно важному выводу о том, что их нормативные рекомендации непременно должны соответствовать тем тенденциям, которые существуют в самой языковой системе. В связи с этим вернёмся к орфоэпическому требованию произносить **звонИт**, а не **звОнит**, с таким трудом внедрявшемуся в общество. Дело в том, что большинство русских глаголов с инфинитивом, оканчивающихся на ударное **-ть**, в личных формах переносят ударение на корень: **косИть** — **кОсит**, **любИть** — **лЮбит**, **носИть** — **нОсит** и многие другие. Причём тенденция к такому «переносу» ударения весьма агрессивна. Ещё А. С. Пушкин писал: «Печной горшок тебе дороже, ты пищу в нём себе **варИшь**». Сейчас мы говорим только **вАришь**. Под влияние этой тенденции попал и глагол **звонИть**, до конца XIX века обозначавший прежде всего звук церковных колоколов. С появлением телефонов и электрических звонков этот же глагол получил новые, бытовые значения, существенно расширив сферу своего употребления, однако сохранив и принадлежность к церковной сфере. Именно последнее не позволяло филологам признать нормой произношение **звОнит**, вступающее в противоречие с традицией. В этих обстоятельствах, как сейчас представляется, было бы целесообразно не категорически настаивать на традиции, вступившей в противоречие с тенденциями развития фонетической системы русского языка, но принять более гибкое решение. Требовать произношения **звонИт** применительно к церковным колоколам и разрешать **звОнит** только применительно к бытовой сфере (в дверь, по телефону и т.п.).

Теперь, когда, кажется, почти все привыкли, хотя и с большим трудом, во всех случаях говорить **звонИт**, пути назад нет. Однако пример этот поучителен, он показывает, какие последствия влекут за собой более или менее разумные нормативные рекомендации учёных-филологов.

Вернёмся от орфоэпии к словам как средству обозначения действительности. В советское время словарный состав русского языка расширяется в основном за счёт слов и выражений, вносимых политическими деятелями и тиражируемых полностью подцензурной печатью и радио: **стахановец, пятилетка, ударник, колхоз, большевик, безыдейность, догнать и перегнать, буржуазные нравы, поджигатель войны, борьба за мир, урожай, качество** и т.д. и т.п. Следуя за изменениями, происходившими в нашей действительности, оказывались невостребованными такие, например, слова, как **милосердие, благопристойность, сострадание, благодеяние, мягкосердечие** и т.п. Языковое творчество продолжалось лишь в народных массах. А академическая филологическая наука, взбодрившись после «гениальных трудов товарища Сталина по вопросам языкознания», продолжала сосредотачиваться почти исключительно на вопросах нормативной, формальной правильности.

Жизнь тем временем шла вперёд, развивались наука и техника, менялись, где-то усложнялись, а где-то примитивизируясь, отношения между людьми, менялись оценки тех или иных явлений. В идеале русский язык должен был стараться поспевать за всеми этими изменениями, давая новым явлениям соответствующие обозначения. Некоторые писатели так и сделали. А. И. Солженицын, например, ввёл слово **образованщина** для обозначения того многочисленного слоя наших современников, которые, обладая документами о высшем образовании, занимают соответствующие этим документам должности, однако на деле лишены как собственно образования, так и чувства ответственности за судьбу Родины. Таким образом, слово **образованщина** оказалось противопоставленным слову **интеллигенция**. Вообще различие в жизни истинного и агрессивно имитирующего дало мощный толчок к языковому противопоставлению: заработать — **наварить, настричь, живьём — под фанеру**, а также **прикидываться (валенком, шлангом и т.д.), косить под (больного, крутого и т.д.)** и т.п. Об этом же говорит и министр образования РФ А. А. Фурсенко, различающий специалиста и человека с дипломом специалиста.

Весьма нужным словом **манкурт** обогатил русский язык другой наш выдающийся современник Ч. Т. Айтматов, назвав так человека, который после мощного внешнего воздействия на свою психику

забыл о своём прошлом и о прошлом своих предков, став одновременно покорным рабом своего хозяина. В последнее время это слово весьма широко употребляется, сохранив в своей содержательной части лишь информацию об утрате памяти о предках и потеряв важные части, сообщающие, что это, во-первых, произошло не само по себе, а в результате внешнего вмешательства и, во-вторых, это изменение превратило человека в раба своего хозяина.

Укажу ещё на одно недавно изобретённое слово: **васькизм**. По одним сведениям, оно придумано академиком Л. Абалкиным, по другим — Е. Евтушенко, третья версия приписывает его Б. Есину. Мы очень нуждаемся в слове, которое бы кратко и ёмко обозначило ту ситуацию, когда X совершает противоправные действия, а Y, обладающий возможностью прекратить эти действия X, по неясным (может быть, и корыстным) причинам никаких реальных действий против X не принимает, ограничиваясь лишь словесными порицаниями. Именно такую ситуацию описал И. А. Крылова в басне «Кот и повар». Требуется слово для обозначения подобного явления, ведь мы сталкиваемся с ним в случае борьбы с коррупцией, соблюдения экологического законодательства, сохранения исторических памятников и так далее. Однако, на мой взгляд, неясно, насколько удачна здесь связь только с котом **Васькой**. В этой столь знакомой нам ситуации следовало бы специально обозначить и каждого из её участников: наглого преступника, уверенного (по каким причинам?) в своей безнаказанности, и бездеятельного (по каким причинам? — неспособность, глупость, корысть, что-то ещё) лица, ответственного за поддержание порядка.

Многие необходимые для обозначения явлений действительности слова продолжают рождаться в недрах живого, разговорного народного языка. Например, слово **халява**, имеющее не просто такое же значение, как и слова **бесплатно** или **даром**, но сообщающее также о некоторой моральной или юридической сомнительности действия.

Или слово **оттянуться**, обозначающее: «полностью предаться радостям жизни после тяжёлой работы». В глаголах **отдохнуть**, **развлечься**, **расслабиться** отсутствует подобное соединение компонентов «полноты» и «компенсаторности» приятного состояния.

Впрочем, наша академическая филологическая наука не торопится придать этим неологизмам статус полноценных слов русского литературного языка. На них по-прежнему лежит печать некоторой сниженности, если не вульгарности. А в то же время эти и подобные им слова нужны, без них трудно выражать свои мысли с необходимой степенью точности.

Соответственно следует оценивать и новейшие заимствования. Криминальные **разборки** (тоже новое и необходимое слово!) сделали необходимым слово **киллер** — тайный наёмный убийца. Слово это обозначает вовсе не то же самое, что **убийца** (он может быть и случайным, и не тайным, и не наёмным). И не то же самое, что и слово **палач** (он тоже наёмный, но не обязательно тайный). Столь же неуместны протесты против слова **имидж**, аргументируемые наличием слова **образ**. Дело в том, что образ — более или менее объективное представление о чём-либо или о ком-либо. А **имидж** — сознательно приукрашенное представление о ком-либо или о чём-либо. Сравните, например, значение словосочетаний **образ Онегина** и **имидж Онегина**.

Иными словами, наш великий и могучий русский язык должен быть «живым, как жизнь», а следовательно, постоянно пополняться новыми словами и новыми значениями старых слов, реагируя таким образом на стремительно меняющуюся действительность. При ведущей роли народного языкового творчества и особенно усилий выдающихся современных деятелей культуры эта работа требует и направляющих рекомендаций, и координации, и оценки. Именно такое место должна занять академическая и университетская наука о русском языке, узаконивая то, что расширяет и уточняет ОЗНАЧИВАНИЕ современной действительности, и ограждая общество от вульгарности, пошлости и грубости.

Даже в постсоветской России власти пытались как-то уделить внимание русскому языку. При Б. Н. Ельцине создали президентский совет по русскому языку, ныне пониженный в статусе, может быть, потому, что он не проявил эффективных инициатив. Да, 2007-й объявили годом русского языка, и он остался в памяти только благодаря различным фестивалям, конгрессам, конкурсам, публикациям, посвящённым русскому языку. В результате всех этих мероприятий и **тусовок** (увы, не знаю стилистически нейтрального слова для обозначения встреч различного уровня и типа!) стало совершенно ясно, что все усилия были направлены исключительно на КОЛИЧЕСТВЕННОЕ распространение русского языка. И это абсолютно правильно и понятно. Чем большее число людей в мире, а особенно в соседних с нами странах, будут использовать русский язык, тем в конечном счёте лучше и для нашей экономики, и для нашей политики, и для нашей культуры.

Необходимо, однако, серьёзно и целенаправленно позаботиться и о КАЧЕСТВЕ современного русского литературного языка. Понимая под качеством не только формальную нормативную правильность, но способность точно и полно называть самые различные феномены и аспекты стремительно меняющейся окружающей действительности. Существование внятных и чётких именовании, конечно, не гарантия гармоничных отношений человека с этой действительностью, однако совершенно необходимое (хотя и недостаточное) для достижения таких отношений условие.

Говорим правильно по смыслу или по форме?

отрывок из книги Игоря Григорьевича МИЛОСЛАВСКОГО

Введение

В русской культурной традиции всегда существовало внимательное и уважительное отношение к родному языку. Это отношение сопровождалось и высокой оценкой качеств русского языка. М.В. Ломоносов писал: «Карл V, римский император, говаривал, что испанским языком – с Богом, французским – с друзьями, немецким – с неприятелем, итальянским – с женским полом говорить прилично.

Но если бы российскому языку искусен был, то, конечно, к тому присовокупил бы, что им со всеми оными говорить пристойно, ибо нашел бы в нем ВЕЛИКОЛЕПИЕ испанского, ЖИВОСТЬ французского, КРЕПОСТЬ немецкого, НЕЖНОСТЬ итальянского, а сверх того богатство и сильную в изображениях КРАТКОСТЬ греческого и латинского языков». Через 100 лет после М.В. Ломоносова И.С. Тургенев написал: «Во дни сомнений и тягостных раздумий о судьбах моей Родины ты ОДИН мне поддержка и опора, о ВЕЛИКИЙ, МОГУЧИЙ, ПРАВДИВЫЙ и СВОБОДНЫЙ русский язык». С тех пор слова *правдивый* и *свободный* мы часто употребляем вместо словосочетания «русский язык».

И в новейшее время традиционное отношение к русскому языку в нашем обществе не изменилось. Русский язык – среди главных школьных предметов и обязательный для ЕГЭ. В день рождения А.С. Пушкина, 6 июня, русский язык становится причиной специального праздника. Существуют международные и российские общественные организации, специально занимающиеся вопросами распространения и изучения русского языка. В Москве целых два института русского языка, имени академика Виктора Владимировича Виноградова в системе Российской академии наук и имени Александра Сергеевича Пушкина в системе министерства образования и науки. Всегда заполнены полки под вывеской «русский язык» в книжных магазинах.

В газетах и по радио систематически выступают различные специалисты по русскому языку... Темы этих выступлений самые разные, однако можно выделить три основных. Глобальные – о месте русского языка среди других языков в современном мире, о состоянии русского языка в текущий момент и общих тенденциях в его развитии, о величии и мощи русского языка. Этимологические – о происхождении русских слов и выражений. И – самые популярные – о том, «как правильно». Правильно – по отношению к существующим в русском языке Нормам, определяющим слитные и раздельные написания или, например, место ударения в определенных словах и формах. При этом, как кажется, остается в тени всех этих важных вопросов самый главный вопрос, вопрос о том, насколько точно все мы, говорящие по-русски, понимаем то, и только то, что стоит за словами, предложениями и текстами, которые мы читаем и/или слышим.

Затеняется также и вопрос о том, насколько эффективно все мы, говорящие по-русски, умеем выбирать именно то из разнообразнейших средств русского языка, чтобы выразить свою мысль в полном соответствии и с отражаемой реальностью, и с нашей её оценкой, и с нашим отношением к читателю/собеседнику. Умеем ли приблизиться к тому идеалу, о котором писал Давид Самойлов: «Мое единственное богатство – это русская речь. Надо, чтобы слово так облекало мысль, будто бы это одно и то же?» Короче говоря, пользуемся ли мы русским языком «правильно», не только соблюдая формальные правила орфографии и орфоэпии, но «правильно» по отношению к действительности, стоящей за словами, которые мы видим и/или слышим. И «правильно» ли мы обозначаем эту действительность, выбирая слова, когда мы пишем и/или говорим.

Единственный угол зрения, который принят в этой книге, это соотношение между современной реальностью, которая нас окружает, и русским языком, который эту реальность называет, фиксирует, отражает. При этом рассматриваются оба пути: от слов – к реальности, т. е. с позиции читающего и/или слушающего, и от реальности – к словам, т. е. с позиции пишущего и/или говорящего. Выбранный угол зрения базируется на мысли, что именно способность языка отражать реальную действительность выступает смыслом и оправданием самого существования языка. Ведь и пишущий, и говорящий в реальной жизни совершают соответствующие действия не ради демонстрации своего умения «писать без ошибок» или ставить ударение на нужный слог. А читающие и слушающие делают свое дело не ради того, чтобы «проверить» своих адресантов. Соблюдение правил, пусть и очень важное, но УСЛОВИЕ разумных речевых действий. Цель же этих действий – в ясном понимании того, какая реальность кроется за словами. Подобно тому, как поездка на автомобиле предполагает соблюдение правил дорожного движения, однако цель

поездки не в таком соблюдении, но в том, чтобы быстро и безопасно добраться до места назначения.

Попробуем в своей книге разобраться, что же на самом деле обозначают общеизвестные слова. Не будем подобны лесковскому Левше, судьба которого оказалась трагической из-за субъективного, не совсем точного, а иногда и совсем неверного понимания значений слов. Не стоит давать словам собственное, сугубо индивидуальное осмысление. В последнем случае трудно рассчитывать на содержательную беседу с более или менее грамотной аудиторией. Русский язык – достояние всех, кто им пользуется. И если разные люди будут совершенно по-разному понимать значения одних и тех же слов, то это разрушит взаимное понимание.

Материалом послужили заметки автора, опубликованные в газете «Известия» в 2008–2011 гг., а также на сайте kabaeva-alina.ru. По жанру, а отчасти и по материалу, автор весьма близок к своим выдающимся коллегам, Ирине Борисовне Левонтиной из института русского языка имени В.В. Виноградова (см. ее книгу «Русский со словарем», М., 2010) и Владимиру Ивановичу Новикову из Московского госуниверситета имени М.В. Ломоносова (см. его «Словарь модных слов», М., 2012)

Рассказывая о своих наблюдениях над отдельными словами, автор более всего опасался впасть в фактографию, но стремился объединить разнородный материал вокруг нескольких фундаментальных идей. Эти идеи, по мнению автора, существенно важны для всех людей, пользующихся русским языком, и автор хотел предложить читателям не столько рыбу, сколько удочку.

Эти идеи отражены в названиях глав и разделов. Однако не всегда содержание отдельных глав удалось точно соединить с названиями глав и разделов, поскольку авторские наблюдения и рекомендации часто носят многоаспектный характер. По этой же причине не удалось избежать некоторых повторений. Прося о снисхождении, автор подчеркивает, что в силу этих причин книгу можно читать с любого места и в любой последовательности.

Глава

1

От слов – к обозначаемой ими действительности (чтение, аудирование)

Как известно, Петрушка, слуга Чичикова из гоголевских «Мертвых душ», в отличие от многих современных молодых людей, «любил читать». Н.В. Гоголь так пишет об этой склонности своего героя: «Характера Петрушка был больше молчаливого, чем разговорчивого; имел даже благородное побуждение к просвещению, то есть чтению книг, содержанием которых не затруднялся: ему было совершенно все равно, похождение ли влюбленного героя, просто букварь или молитвенник, – он все читал с равным вниманием, если бы ему подвернули химию, то он и от нее бы не отказался. Ему нравилось не то, о чем читал он, но больше само чтение, или, лучше сказать, процесс самого чтения, что вот-де из букв вечно выходит какое-нибудь слово, которое иной раз черт знает что и значит...»

Строго говоря, за словом *читать* в случае с Петрушкой скрывается следующее: «уметь переводить буквы в звуки», а отнюдь не «соотносить буквенные и звуковые знаки, соединяя их в слова и предложения, с объектами, действиями, состояниями, признаками окружающей действительности».

Уметь читать (и слышать) значит «понимать» то, что стоит за соответствующими написанными или звучащими единицами. Процесс понимания – это установление связи между языковой формой (буквами, звуками) и отражаемой ею действительностью». Это соотношение устанавливает правая часть толковых словарей русского языка. Однако эти толкования нередко представляют собою просто более или менее синонимичные замены слова в левой части словаря так же требующими толкования словами толкующими. Поэтому более предпочтительными выступают толкования, состоящие из простейших по значению слов, соединенных между собой. Например, *отец* – 1) лицо мужского пола, 2) являющееся родителем 2а) в первом поколении; *бабушка* – 1) лицо женского пола, 2) являющееся родителем 2а) во втором поколении; *сын* – 1) лицо мужского пола, 2) являющееся рожденным 2а) в первом поколении. Или *бежать* – перемещаться а) по твердой поверхности (ср. *лететь, плыть*), б) со скоростью больше нормы (ср. *идти, тащиться*); *ручей* – водоем а) с движущейся водой (ср. *озеро*), б) небольшого размера по длине и ширине (ср. *река*); *стул* – 1) предмет для сидения 1) для одного человека (ср. *лавка*), 2) со спинкой (ср. *табуретка*) и 3) без подлокотников (ср. *кресло*). Впрочем, в последнем случае соответствующий рукотворный предмет можно было бы просто нарисовать, и это было бы хорошим объяснением того, что стоит за словом *стул*. К сожалению, читающие и слушающие не всегда предполагают за встреченным словом тот же самый набор содержательных признаков, что

и автор соответствующего текста. И это, разумеется, создает ситуацию скрытого взаимного неправильного понимания.

Более того. Многие слова могут иметь несколько значений, а следовательно, читающий/слушающий может осмыслить встреченное слово не в том значении, в каком его употребил пишущий/говорящий. Так, например, слово *строи?тельство* в русском языке может обозначать и процесс, и место; слово *изгнание* – и процедуру, и ее результат, т. е. состояние, возникшее в результате этой процедуры; слово *кофе* может обозначать и зерна, и напиток и т. д. и т. п. Разумеется, знание ситуации, а также наличие других слов часто снимают возможность различного понимания между адресатом и адресантом, однако такое возникает не всегда, и есть немало случаев, когда возможность скрытого взаимного непонимания остается.

Есть также немало слов, в значение которых уже включено некоторое предварительное знание о называемом фрагменте действительности. Так, например, *пощадить* может лишь тот, кто обладает соответствующими возможностями, моральными, физическими, а слово *перестройка* сообщает лишь о том, что ситуация будет «другой», не такой, как раньше, однако же ничего не говорит, какой же именно, не называет ее новые характеристики. Иными словами, неясная, никак не названная зона смысла может по-разному заполняться и отправителем сообщения, пишущим, говорящим, и его получателем, читателем, слушателем. И это еще один источник скрытого взаимного непонимания.

К плану содержания многих встречающихся в русских предложениях и текстах слов принадлежит не только то, что обозначает окружающую действительность и представлено, лучше или хуже, в правой, толкующей, части словарной статьи. Во многих словах отражены еще и субъективные компоненты. Это личные отношения говорящего/пишущего к называемым им явлениям, нейтральное, положительное, отрицательное. Например, *помощник – сподвижник – пособник; щедрый – мот, расточитель; стабильность – застой* и т. п. в словах *пособник, мот, расточитель, застой* выражена не только «суть дела», но и отрицательная ее оценка со стороны автора, говорящего и/или пишущего. Добавлю, что в русском языке существует немало слов, не называющих никаких сущностей, но выражающих только авторскую оценку: *чушь, ерунда (на постном масле), глупости, бредни, выдумки, плохо*, – все эти слова сообщают читающему/слушающему только то, что автору нечто «не нравится», однако сама суть дела остается никак не обозначенной. Эта простая мысль особенно важна в педагогической деятельности, когда учащийся, воспринимая подобные слова относительно собственных усилий, осознает лишь то, что не угодил учителю, однако остается в полном неведении, отчего и почему такая реакция возникла. Разумеется, все то же самое, только уже с положительным знаком, относится к таким словам, как *замечательно, чудесно, отлично, прекрасно, великолепно* и т. п.

Другим субъективным проявлением, но уже не к сути сообщаемого, является отношение к читателю/слушателю. Ср., например, формы приветствия *Здравия желаю – добрый день – здорово* или обращения *Петр Иванович – Петя – Петенька – Петька*. Однако отношение к адресату, от подчеркнутого официально-вежливого до (увы) хамски пренебрежительного, может выражаться в слове и одновременно с обозначением некой сущности, ср., например, *похитить – украсть, своровать, свиснуть, спереть, приделать ноги*.

В главе I я предлагаю читателю книги встать в положение адресата и постараться всякий раз в процессе чтения или слушания (в отличие от гоголевского героя) точно понять, какие же именно сущности и субъективные проявления стоят за каждым встречающимся словом. Преодолевая возможные расхождения между замыслом автора и собственным восприятием с учетом 1) возможного различия в наборе характеристик, определяющих план содержания слова, 2) возможной неоднозначности некоторых слов, а также 3) с учетом того, что в содержание слов могут включаться некоторые предварительные допущения, а также другие, никак не выраженные смыслы. Понимая, что в плане содержания могут присутствовать не только объективные моменты, но и субъективные авторские проявления, оценка, положительная или отрицательная, высказываемого, а также отношение автора к адресату. Последнее обычно отражается в словарных пометах типа *высокое, официальное, просторечное, грубое* и т. п.

Высшим достижением со стороны читателя/слушателя является выделение таких слов и словосочетаний, за которыми либо не стоит никакой реальности (*жареный лед*, например), либо стоит отнюдь не самая суть обозначаемого, т. е. таких случаев, когда говорящий/пишущий просто употребляет слова ради того, чтобы надуть адресата в расчете на его невнимательность, необразованность, доверчивость.

1. Не понимаем, что за словом!

Цифры и буквы

Одинаково ли мы понимаем то, что стоит за некоторыми употребительными словами?

Существуют слова, значения которых трудно определить.

Когда мы слышим или читаем о том, что кто-то не произносит букву *p*, мы ясно понимаем, что же именно имеется в виду. Однако столь же очевидно, что буквы нельзя произносить. Их можно только писать и видеть. Строго говоря, надо было сказать, что *X* не произносит звук, обозначаемый буквой *p*. При этом за буквой *p* может скрываться и твердый звук *p* (как в *рама, рынок, рука*), и мягкий (как в *рис, река, рябина*). Однако это слишком длинно, и мы легко прощаем друг другу невежественное отождествление звуков и букв. Замечу, что такое отождествление было бы более объяснимым, например, для сербского языка. Там орфография базируется на провозглашенном сербским просветителем Вуком Караджичем принципе: «Пиши так, как говоришь, и читай так, как написано». В русском языке, как известно, такой принцип не действует, и буква *t*, например, может обозначать и звук *t* твердый (*там, тыл, туман*), и звук *t* мягкий (*тетя, тир, тюлень*), и звук *d*, как твердый, так и мягкий (*отдать, молотьба*) и вообще не обозначать никакого звука (*счастливый, местный*).

Впрочем, небрежности, сопровождающие неразличение формы и содержания, относятся не только к русскому языку. Не избежала их даже «царица наук» – математика. Вспомним великого Игоря Ильинского в замечательной комедии выдающегося Эльдара Рязанова «Карнавальная ночь». Директор дома культуры малограмотный Серафим Иванович Огурцов хочет сообщить участникам праздника, «с какими цифрами пришел наш Дом культуры к Новому году». Однако основным значением слова *цифра* является тот способ, которым обозначается *число*. Именно число, т. е. в основном своем значении «величина, при помощи которой производится счет». А вот цифры, т. е. обозначения числа, могут быть разными. Мир сейчас пользуется арабскими цифрами, т. е. 1, 2, 3 и т. д. А во времена господства латинского языка были широко распространены латинские цифры, т. е. I, II, III и т. д. В старославянском и древнерусском языках числа обозначались с помощью букв, над которыми ставились специальные знаки: А обозначало 1, Б пропускалось (под влиянием греческого языка), В обозначало 2, Г – 3 и т. д. В разговорной речи, однако, у Серафима Ивановича немало сторонников, которые говорят не о показателях, не о результатах, не о реальном количестве, но именно о цифрах. Подразумевая, что именно таким образом они и называют величины. Желание сказать короткое *цифры* вместо длинного *показатели, выраженные в числах и обозначенные с помощью цифр* вполне понятно. Однако едва ли приводит к пониманию основ такой науки, как арифметика.

Итак, словесные обозначения, употребляемые для простоты и краткости, нередко могут быть неадекватны тем жизненным явлениям, на обозначение которых они претендуют. Это важное обстоятельство необходимо иметь в виду, пытаясь точно понять, что же именно в реальной жизни стоит за словами и предложениями.

Такое опасное расхождение между языковыми знаками и обозначаемой ими действительностью обусловлено, в частности, стремительным изменением самой действительности и научным представлением о ней, с одной стороны. И консервативностью передаваемого из поколения в поколение языка. Ярким примером такой попытки «догнать» изменяющуюся действительность являются слова, относящиеся ко «второй древнейшей профессии» – журналистике. С появлением газет возникло и слово *газетчик*, т. е. и работающий, и продающий газеты. Рядом с ним существовало и слово *журналист*, буквально «работающий в журнале», а затем – любой работник в сфере средств массовой информации, в частности *радиожурналист, тележурналист*. Появление Интернета привело к появлению слова *блоггер*, правописание которого через одно или два *г* еще не устоялось. Весьма показательная «гонка» языка за изменяющейся действительностью.

Я отнюдь не думаю, что любое слово – благо для языка и культуры. Однако твердо уверен, что язык следует не только сохранять, что в случае ухода из жизни соответствующих реалий (*лапти, керогаз, камергер* и мн. др.) просто невозможно.

Пилить можно по-разному

Глагол *пилить* обозначает разделение на части с помощью пилы. Это ведь не только разделение на части, но и весьма аккуратное на вид само место разделения (ср., например, *колоть и рубить*). Это постоянный монотонный и не очень приятный звук. Это ритмичное движение пилы – и ножовки, и двуручной. Это, наконец, неизбежное, большее или меньшее, количество опилок, которые, с одной стороны, не цель действия, но, с другой стороны, могут представлять (скажем, в деревенском хозяйстве) некоторую ценность.

Пилить мужа заведомо не может обозначать в обычной жизни «разделение на части». Но акцентируя монотонный, нудный звук, обозначает «выражать недовольство действиями и/или качествами, однообразно возвращаясь к тому, что уже было сказано». Как это происходит и при пилке как физическом расчленении. *Пилить* в этом случае уже выступает в группе глаголов, обозначающих разнообразные по сути и по форме осуждения других людей: *ругать, бранить, грызть, крыть, поносить, хаять, охаивать, хулить*. Словарь синонимов русского языка под редакцией академика Ю.Д. Апресяна четко обозначает содержательные и иные различия между всеми этими словами.

Аккуратное выделение частей, а также существование опилок, будучи поставленным в основу значения, а также «зачеркивание» других частей объясняют употребление такого словосочетания, как, например, *пилить бюджет*. Это значение «аккуратно красть» напомнило мне афоризм директора одного ресторана: «Каким бы острым ножом ни резать хлеб, крошки всегда останутся». Жаль, конечно, что уже широко укоренившийся в последнем значении глагол *пилить* не имеет пока производных, обозначающих производителей такого действия.

Другое разговорное сниженное значение *пилить* – это «перемещаться в пространстве». Механизм появления этого значения такой же, как и в других случаях: выход на первый план именно движения за счет «зачеркивания» других признаков.

Описанные механизмы перераспределения элементов значения в слове заслуживают, по-моему, внимательного отношения со стороны тех, кто готов не только декларировать свою высокую оценку русского языка и любовь к нему, но и проявлять их на практике.

Обогащайтесь!

Слово *богатый* и многие его производные (*богатство, богатеть, богач*) принадлежат к числу весьма употребительных в русском языке слов. Толковый словарь русского языка академика Н.Ю. Шведовой выделяет у прилагательного *богатый* несколько значений в зависимости от того, какое существительное оно определяет. *Богатый фермер* – очень «зажиточный»; *богатая обстановка* – «дорогая», «роскошная»; *богатый урожай* – «обильный»; *богатый голос* – «имеющий много ценных качеств». Думается, что неизменной содержательной частью всех этих несовпадающих значений прилагательного *богатый* будет «много ценного». «Имущества» в случае с фермером и другими лицами; «по стоимости» – в случае с обстановкой и другими конкретными предметами; без какой-либо дополнительной конкретизации для *урожай* или *голос*.

В производном *богатство* ясно проявляется противопоставление «множества ценного» материального (*Доброе братство – милее богатства*) и морального (*Мои года – мое богатство* или *богатство души*).

И моральное, и материальное предполагают глаголы *обогатить* и *обогатиться*: ср. *обогатить казну* и *жизненный опыт*, а также *обогатиться в результате финансовой операции* или *после обсуждения со знатоками*. Иными словами, и здесь у корня слова сохраняется неизменной та часть значения, которую можно назвать «много ценного», а характер этих ценностей, материальный или моральный, варьируется в зависимости от того, к какой области относятся те слова, которые создают для *богатство, обогатить(ся)* их контекстное окружение. Впрочем, иногда таких слов, которые принадлежат к контекстному окружению, может быть настолько мало, что содержательная неопределенность сохраняется.

Наверное, каждый встречался с явлением омонимии, когда абсолютно одну и ту же форму имеют слова с совершенно разными значениями. Например, за формой *коса* может стоять и «волосы», и «орудие», и «часть суши». В словосочетаниях *хорошая коса, красивая коса, посмотреть на косу* и некоторых других вся эта содержательная неопределенность сохраняется. А вот, например, *впричалить к косе* возможно только «часть суши», *в наточить косу* – только «орудие», *в заплести косу* – только «волосы», *во взять косу* – вероятнее всего «орудие», не исключено и «волосы», а «часть суши» вряд ли возможно, если речь, конечно, не идет о военных действиях.

В свое время видный советский партийный и государственный деятель Н.И. Бухарин выдвинул лозунг, который нередко вспоминают и в наши дни: «*Обогащайтесь!*» Если отвлечься от конкретного анализа экономической программы Н.И. Бухарина и сосредоточиться лишь на содержательной стороне его лозунга, выяснится, что этот лозунг вне контекстного окружения может быть понят очень по-разному. Во-первых, существует возможность понимать этот лозунг в плане материальном, т. е. приобретайте имущество, стройте жилье, копите деньги! И в плане моральном: читайте книги, посещайте музеи и театры, приобретайте знания и опыт! Более того. Форма повелительного наклонения множественного числа глагола теоретически может обозначать призыв к одному лицу, с которым мы общаемся на Вы. И призыв к множеству лиц вне зависимости

от того, общаемся ли мы с ними на Вы или на ты. Иначе, призыв «Обогащайтесь!» можно понимать и как призыв к каждому, к его индивидуальному, личному, семейному обогащению, материальному и духовному. И как призыв ко всему обществу в целом. Тогда «Обогащайтесь!» значит стройте дороги, школы, больницы и другие общественные здания, т. е. совершенствуйте то, что мы сегодня, с теми или иными оговорками, называем инфраструктурой, т. е. материальные объекты, необходимые всем и каждому, всему обществу в целом, а не ограничивайтесь только своими личными потребностями. То же самое относится и к духовному совершенствованию всего общества. Культивируйте приобщение к искусству, гуманизируйте отношения между людьми, совершенствуйте содержание образования! Оставляю в стороне важный вопрос о том, какое из четырех теоретически возможных осмыслений (материально и индивидуально, материально и коллективно, духовно и индивидуально, духовно и коллективно) является наиболее и наименее вероятным применительно к конкретной ситуации. Подчеркну лишь принципиальную вероятность весьма различного понимания лозунга «Обогащайтесь!», что может влечь за собой бессмысленность коммуникации. Во избежание такого эффекта и говорящий/пишущий, и слушающий/читающий должны всегда добиваться одинакового осмысления употребляемых слов и выражений.

Заканчивая обсуждение слов с корнем *богат*, замечу, что в советское время активизировалось (а теперь, кажется, почти прекратилось) употребление просторечного слова *богатеи*, отличающегося от *богач* негативной оценкой (ср. нейтральное *журналист* — отрицательное *журналига*, нейтральное *политик* — отрицательное *политикан*).

Пиар, или Как бы правда

Уже много сказано о словосочетаниях современного русского языка, содержащих *как бы*: *как бы работаю*, *как бы муж*, *как бы серьезно* и т. п. Широкое употребление подобных словосочетаний может говорить о двух вещах. Либо автор не уверен, что выбранное им слово точно отражает действительность. Либо в самой действительности мы встречаемся с подделкой. С молочным напитком вместо молока. С пением «под фанеру», а не живьем. С бижутерией, а не с драгоценностями. Наконец, с пиаром, а не с объективной информацией.

Слово *пиар* появилось в русском языке лишь в конце прошлого века. Теперь же оно широко употребляется и имеет много производных: *пиаровский* — «относящийся к пиару», *пиарщик* — «тот, кто профессионально занимается пиаром», *пиарить* — «делать объектом пиара», *пиариться* — «организовывать пиар для самого себя» и т. д.

Пиар — это целенаправленная деятельность по созданию определенного, обычно привлекательного, имиджа лица или организации. Подчеркну, что речь идет именно об искусственно создаваемом имидже, а не о том реальном образе лица или организации, который более или менее объективно существует в сознании людей. В частном случае пиар может быть направлен и на создание сугубо отрицательного имиджа. Тогда говорят о черном пиаре.

Пиар находится между двумя другими видами информационной деятельности: журналистикой и рекламой. Журналистика в идеале должна стремиться выражать объективный взгляд на события и явления и, таким образом, представлять интересы всего общества. Пиар же принципиально ориентирован на интересы тех лиц и организаций, чей имидж он стремится создавать. И в этом отношении пиар ничем не отличается от рекламы. В нашем обществе сложилось противоречивое отношение к рекламе. Одни считают ее достаточно ценным источником информации. Другие полагают, что реклама содержит далеко не всю правду, а обо многом негативном умалчивает. Но реклама обычно прямо говорит о себе: «Я реклама». Другое дело — пиар: он, напротив, стремится максимально замаскировать себя и свои истинные цели. Для аудитории современных СМИ это создает серьезные проблемы, схожие с теми, что возникают при одновременном хождении настоящих и фальшивых денежных купюр.

Итак, пиар — это своего рода реклама, но обычно замаскированная, чаще всего под журналистику. Есть определенные приемы, позволяющие различать настоящую журналистику и пиар. Всегда интересуйтесь, кто автор той или иной информации, какова его репутация. И если это, скажем, пресс-секретарь лица А или начальник пресс-службы организации Б, это, конечно, не означает, что он заведомо говорит неправду, но сами сделайте вывод, чей и какой именно имидж должны создавать эти люди. Однако даже если автор по своему положению не ангажирован кем-либо, это тоже отнюдь не гарантия его объективности и непредвзятости. Здесь для проверки нужны более тонкие механизмы. Такие, как внимательное чтение: не проговаривается ли где-нибудь автор, употребляя **оценочные слова**, настойчиво педалируя какой-то один аспект, привлекая ненужные детали и т. д. Кроме того, хорошо бы изучить разные точки зрения по данному вопросу,

чтобы увидеть проблему со всех сторон, а не только с заявленной позиции. Впрочем, все это снижает доверие не только к отдельным авторам и изданиям, но и к СМИ в целом.

В последнее время многие наши вузы открыли подготовку по специальности «пиар», и среди желающих ее получить существует большой конкурс. Меня лично эта ситуация глубоко огорчает. И не только потому, что, на мой взгляд, технология создания имиджа – слишком маленькая область для того, чтобы быть самостоятельной вузовской специальностью. Печалит моральная готовность столь многих учащихся и учащихся в качестве жизненного пути выбрать не служение правде и обществу, а априорную защиту интересов отдельных лиц и организаций. При этом неправильно сравнивать пиарщика и адвоката – ведь последний не работает без прокурора, следователя и судьи, а деятельность пиарщика не предполагает обязательной ответственной полемики. И это, по-моему, еще один, хотя и косвенный, аргумент не в пользу такой деятельности.

Я понимаю, что современному российскому обществу нужны разные специалисты. Но не все же профессии могут быть массовыми.

Рейтинг

Слово это сейчас у всех на слуху. Что стоит за словом *рейтинг*?

Рейтинг – это результат сравнения нескольких однородных объектов: компаний, университетов, телепрограмм и даже различных, но имеющих и нечто общее людей – например политиков, ученых и, конечно же, спортсменов и целых команд.

В последнем случае все более или менее ясно. Скажем, как распределяются по силе игры шахматисты? Сравним показанные ими за последний год результаты, определим, у кого они выше, а у кого – ниже, и рейтинг готов! Правда, для шахматистов формирование рейтинга связано с единственным и более или менее ясным параметром – «сила игры». Он отражает то, во многих ли турнирах и с каким составом участников выступал шахматист, какие места занял, успешно ли играл против победителей и призеров и т. д.

Самый простой рейтинг каждый из нас получал еще в детстве, когда мы строились по росту и рассчитывались по порядку номеров. А вот для политика параметрами определения рейтинга могут служить разные характеристики: известность, одобрение взглядов, доверие, личное обаяние... Столь же многочисленны параметры и у рейтинга телепередачи: абсолютное или относительное число зрителей, продолжительность, время выхода в эфир, количество участников, стоимость, нравственная ценность... Причем некоторые параметры можно определить непосредственно: продолжительность или стоимость передачи, количество поступивших звонков, число упоминаний имени политика в определенных СМИ. Зато другие важные параметры определяются посредством специальной выборки информантов, представительность которой может оценить только специалист. Очевидно, что мнения людей разных возрастов и социальных групп, жителей разных регионов, мужчин и женщин часто серьезно различаются. Поскольку в дело вступает «фактор наблюдателя», здесь возможны разного типа отклонения от истины. Например, рейтинг популярности телеканала «Культура» среди людей с высшим образованием будет выше, чем среди тех, кто его не имеет, в деревнях – ниже, чем в городах, и т. п.

Так что, когда вы слышите слово *рейтинг*, непременно поинтересуйтесь, «по какому параметру». А узнав параметр, постарайтесь выяснить, кто и по чьему заказу проводил соответствующее исследование. Также полезно иметь в виду, что количественные показатели внимания зрителя, читателя, любого «оценщика» часто весьма изменчивы, а право любого человека на собственное мнение отнюдь не обязательно делает каждое мнение разумным. Скажем, если рейтинг продаж книжек Оксаны Робски в магазинах города А в период X выше, чем у Тургенева, Толстого или Астафьева, то тем хуже для покупателей. В этом случае хорошо бы оценить рейтинг продаваемых книг по параметру «положительное нравственное воздействие». И пусть материал для этого рейтинга дадут специально выбранная репрезентативная группа читателей и определенного уровня эксперты.

Но особенно странное впечатление производят сводные рейтинги, включающие в себя множество разных параметров. Например, рейтинг университетов мира, где суммируются с неясным удельным весом самые различные характеристики – от обустройства студенческого кампуса до количества преподающих нобелевских лауреатов. Место в этом рейтинге, со множеством параметров и с не очень убедительными принципами их суммирования, никак не помогает будущему студенту в самом важном для него выборе – не университета, а специальности. Ведь прекрасно известно, что один университет славен, например, своей медицинской школой, но слаб

в математических науках, другой – силен в истории, зато химики там не отмечены большими достижениями и т. д.

Я бы снабдил слово *рейтинг* чем-то вроде дорожного указателя в форме треугольника с восклицательным знаком в середине: снизить скорость восприятия текста, повысить внимание! В самом деле, не стоит попадать под магию не очень понятного слова иностранного происхождения! Не надо бояться выглядеть несовременным, неинтеллигентным и делать вид, что вы все понимаете. Наоборот! Кто составил этот рейтинг? По чьему заказу? По какому параметру? Среди каких информантов? И даже если вы дадите убедить себя в том, что высокий рейтинг – это знак известности, популярности, всегда помните, что все-таки это – отнюдь не «высокая, непреходящая ценность».

Как слово становится брендом

"Хоть горшком назови, только в печь не станови», – гласит старая русская пословица. Оценивая ту или иную вещь, наши предки интересовались в первую очередь ее реальными качествами. А вот название они справедливо полагали делом хотя и важным, однако второстепенным. Всепроникающий рынок сегодня пытается изменить это честное и разумное представление о мире.

Бренд – это торговая марка предприятия, выполняющая функцию его рекламы. Именно так определяют значение этого слова, восходящего к английскому brand («клеймо, фабричная марка»), те немногочисленные словари русского языка, где это слово представлено. Главное в этом определении – рекламная функция. Именно этим значение слова *бренд* отличается от значений слов *этикетка* или *ярлык*, у которых нет связи с рекламной функцией.

Однако в живом современном употреблении слово бренд обозначает не только торговую марку. Сегодня бренд – это ЛЮБОЕ название, обладающее широкой известностью и положительными ассоциациями. Такие свойства могут иметь имена и фамилии конкретных людей. Например, Стрельцов и Яшин в футболе, Даль и Ожегов в русской лексикографии, Пушкин и Чехов в русской и мировой культуре. Брендами могут быть названия учреждений, организаций, изданий, продуктов: МГУ и физтех, Большой театр и Сбербанк, императорский фарфор и вологодское масло...

Не касаясь юридических вопросов использования брендов, остановлюсь на языковой стороне дела.

Современная наука утверждает, что у слова, помимо формы и значения, существует еще и ассоциативный фон. Например, *елка – Новый год, квадрат – геометрия, осень – золотая* и т. п. Как показали авторы «Русского ассоциативного словаря», этот фон, хотя и варьирует у разных людей, имеет существенную общую часть. Именно к ней и обращается рекламодатель, называя молодого футболиста новым Бобровым, сообщая, что некий продукт создан учеными Российской академии наук, а соответствующее блюдо подавали на приемах в Кремле. На такой ассоциативный фон было, например, нацелено название «Березка» для магазинов, детских садов, танцевальных ансамблей. В русском языке слово *береза* – это не только определенный тип дерева, но и ассоциация с нежной красотой родной земли. Замечу, что, скажем, в норвежском языке это слово лишено такой ассоциации, но связывается со способностью выживать в самых трудных условиях.

Использование бренда – это апелляция к позитивным ассоциативным связям, которые есть у того или иного слова. Нередко эти **ассоциации** – следствие положительных характеристик самого названного феномена. Однако не забудем, что «нередко» не значит «всегда». А ассоциативные связи – это не объективные характеристики реального предмета, а именно ассоциации, часто субъективные. Кроме того, само слово-бренд может относиться и к феномену, изменившемуся со временем. Например, название «Ленком», будучи несомненным брендом, обозначает театр, ныне едва ли связанный в своей работе со значением слов *ленинский* и *комсомол*.

Все эти соображения мне представляются особенно важными для сегодняшних абитуриентов и их родителей. Вы заметили, что из списка вузов почти исчезли институты? Те самые, в которых старшее поколение получило совсем неплохое высшее образование. Нет, они, конечно, не исчезли, но называются теперь университетами или даже академиями. Новые названия выглядят более привлекательно, однако не всегда ясно, какие сущностные изменения в лучшую сторону стоят за этими переименованиями. *Мастер делового администрирования* (по-английски MBA), *офис-менеджер* или *политолог*, может быть, для кого-то и приятнее на слух, чем инженер, агроном или учитель. Однако серьезный жизненный выбор следует делать, ориентируясь не на «приятность» слов, но на ту реальность, которая за этими словами стоит.

«Сколько ни говори халва, во рту сладко не станет». Это утверждение не совсем точно. Если верить академику Ивану Петровичу Павлову, сладко все же станет. К сожалению, только на несколько мгновений.

Мы говорим «бюджетник». А кого подразумеваем?

Многие полагают, что так обобщенно называют работников государственных учреждений образования, здравоохранения и культуры – тех сфер, которые и в прежние времена постоянно характеризовались наиболее низкой зарплатой. Но ими список бюджетников не исчерпывается.

Слово *бюджетник* принадлежит разговорной речи и обозначает «лицо, получающее заработную плату из государственного бюджета». Именно «заработную плату», а не «пенсию», которую получают пенсионеры. И не «стипендию», которую получают студенты и некоторые другие учащиеся. Существенно, что речь идет о работниках именно госучреждений. Ведь финансовые возможности этих учреждений, а значит, и зарплаты их сотрудников определяет госбюджет. Следовательно, бюджетником является наемный работник любого госучреждения. Министр и губернатор, военнослужащий и милиционер, налоговый и сотрудник ФМС.

Однако в реальном употреблении, в отличие от нормативного словарного, слово *бюджетник* не охватывает такое большое количество разных лиц. К бюджетникам обычно не причисляют госслужащих различных категорий. Их называют чиновниками. Как-то не принято называть бюджетниками сотрудников тех государственных, то есть бюджетных, структур, которые определяются словом *силовые*. За словом *бюджетник* закрепились такие ассоциации, как «низкооплачиваемый», «второсортный», «работающий в области, без которой общество может обойтись», «недолюбиваемый властью» и т. п. Разумеется, такие ассоциации не могли возникнуть у слов *чиновник* и *исилвик*. И произошло это потому, что под словом *бюджетник* говорящие по-русски обычно подразумевают тех, кто работает в таких госучреждениях, как школа или детский сад, поликлиника или больница, библиотека или музей. Надо бы и для этих работников придумать собственное однословное именование. Ведь имеющееся – *работники образования, здравоохранения и культуры* – слишком длинное. А кроме того, властям пока еще как-то стыдно, говоря именно о работниках образования, здравоохранения и культуры, всякий раз напоминать об их крайне низком статусе в обществе. Поэтому так удобно прикрыться «безразмерным» *бюджетником*. Расхождение между значениями слова в словаре и в живом употреблении – нередкое явление. Укажу, например, на слово *мафия*, обозначающее «тайную преступную организацию». В современном употреблении это слово часто расширяет свое значение, исключая из него «тайную» и понижая «преступную» до «преследующей эгоистические интересы», а «организацию» – до «общности»: *чиновничья мафия, нефтяная мафия* и пр. А вот слово *интимный*, означающее «глубоко личный, сокровенный» (*интимные переживания, интимный разговор*), напротив, часто сужает свое значение до «относящийся к сексу».

За подобными расхождениями обычно стоят изменения, происходящие в реальной жизни, а затем отражающиеся в языке. И авторы нормативных словарей должны сделать непростой выбор: легализовать ли эти языковые изменения или поставить им заслон. При этом любое решение должно опираться не просто на вкусы и авторитет самих составителей, но на строгое различие тех законов и случайностей в жизни общества и языка, которые привели к соответствующим переменам. Однако обнаружить такие законы можно лишь в результате крупномасштабных и целенаправленных социолингвистических исследований русского языка и говорящего на нем общества. Увы, эта ситуация мало тревожит нашу общественность. В отличие от фактов расхождения относительно формальных норм русского языка (*мой кофе* или *мое кофе, договОр* или *дОговор* и т. п.). И это печально.

Будьте любезны! Или толерантны?

Прилагательное *толерантный* сейчас, пожалуй, одно из наиболее употребительных среди слов, определяющих отношения между людьми. Но всегда ли толерантное поведение по отношению к другим людям является наилучшим?

Согласно словарю иноязычных слов Л.П. Крысина толерантный – это «терпимый, снисходительный к кому-чему-нибудь». Эту дефиницию можно организовать и иначе. Дело в том, что значения многих слов предполагают две части: некоторое предварительное условие и нечто в этих условиях проявившееся. Именно поэтому человек не может *забыть* то, чего он никогда прежде не знал. *Проснуться* может только тот, кто до этого спал, *выздороветь* – тот, кто болел, а *поссориться* можно лишь с тем, с кем был дружен или хотя бы знаком.

Толерантность, т. е. «терпимость и снисходительность к кому-чему-нибудь», можно проявить лишь в обстоятельствах, когда существуют какие-либо раздражители, способные вывести человека из обычного спокойного состояния, которое считается нормальным. По отношению ко многим раздражителям действительно обычно рекомендуют *не реагировать, не обращать внимания, не брать в голову (в душу), не заморачиваться* и т. п. Иными словами, проявлять равнодушие, не видеть, не замечать. Можно пойти еще дальше. Попытаться понять, почему вас просто отталкивают, не спросив разрешения пройти. Почему ваш сосед в автобусе кричит, разговаривая по мобильному телефону. Почему кто-то бросает на тротуар окурки, бутылку, упаковку. Может быть, первый очень торопился, второй боялся, что его не услышат, а третий впервые оказался в большом городе. И, поняв возможные причины раздражающего поведения, простить. Однако простить – это, видимо, та граница, дальше которой толерантность распространяться никак не может. Ибо за ней – уже готовность принять уровень культуры, который Бердяев называл пониженным.

Однако окружающая жизнь приготовила нам не только неприятные раздражители, на которые человек толерантный не должен реагировать. Довольно часто возникают и такие ситуации, когда толерантность, переходящая в безучастие и равнодушие, едва ли может быть рекомендована.

Я имею в виду случаи, когда кто-то из окружающих просит о помощи или явно в ней нуждается. В таких случаях стоит быть просто *внимательным*, а еще лучше – *участливым, чутким, отзывчивым*. И хотя последние слова теперь менее употребительны, чем *толерантный*, утрата соответствующих качеств была бы делом весьма печальным.

Не забудем и о тех жизненных ситуациях, когда мы сами хотим попросить оказавшегося рядом человека о какой-либо помощи или услуге. На вопрос, как он поступает в таких случаях, прекрасно ответил бывший министр Александр Авдеев: *«Я говорю: будьте любезны»*. Говоря так, мы надеемся, что окружающие нас люди могут быть любезны, т. е. не просто формально вежливы, но, более того, уважительны и, может быть, даже предупредительны к другим людям, готовы оказать им *любезность*, «небольшую услугу, одолжение». Иными словами, сделать некоторое усилие, чтобы помочь другому, выразить ему свое расположение. К счастью, наши контакты с другими людьми не ограничиваются только раздражением и потребностью в помощи, исходящей от другого или от нас самих. Жизнь дарит нам картины радости, примеры совершенства, поводы для улыбки и веселья. И в этих ситуациях уместная реакция – это открытость, улыбочивость, доброжелательность.

Итак, толерантность не может быть главной чертой поведения человека в обществе. Она полезна лишь в ограниченном круге ситуаций. В нормальном обществе гораздо более востребовано другое поведение, черты которого – любезность, уважительность, доброжелательность. Уважение к другому человеку, радость от его удач, готовность при необходимости ему помочь, ожидание такого же отношения с его стороны. А обостренная потребность в толерантности, видимо, отражает количественный рост в обществе числа людей, не желающих корректировать свое поведение с интересами других. Едва ли можно затормозить этот рост только превентивной настроенностью на толерантность как на всегда лучший способ поведения. Еще Максим Горький предупреждал, что если считать всех людей плохими, то только плохие к тебе и придут.

Измена и изменение

Глагол *изменить* в зависимости от формы управляемых слов имеет разные значения. Если *что?* (редко *кого?*), то «сделать иным». А *если кому-чему?* то «совершить предательство, нарушить верность, в том числе и супружескую». Соответствующие отглагольные существительные также различаются по значению: *изменения* («другое качество») и *измена* («предательство»).

Изменить *кому-чему* во множестве контекстов равнозначно предать *кого-что*. У глагола *предать*, но *кому-чему*, есть и другое значение «отдать», которое находим, например, в *предать суду (забвению, земле)*. Соответствующие отглагольные существительные также имеют разные значения: *предание* «отдание» (не путать со значением «легенда») и *предательство* «измена».

Совершенно очевидно, что соответствующие производные со значением «лицо» *изменник* (от *изменить кому-чему*) и *предатель* (*отпредать кого-что*) называют очень-очень плохих людей. Замечу, что от других значений глаголов *изменить* и *предать* производные со значением «лицо» не существуют.

Очевидно, что крайне осудительные *изменник* и *предатель* представляют собою оценку ситуации со стороны пострадавших, тех, кому изменили, кого предали. А между тем на одну и ту же ситуацию всегда полезно посмотреть не с одной-единственной, но с разных точек зрения. И в зависимости от точки зрения дать одному и тому же явлению соответствующее словесное

обозначение. Выведывающий наши секреты ради интересов нашего врага, конечно же, *шпион*. А добывающий для нас информацию о нашем противнике, разумеется, *разведчик*. Добавлю, что, например, в японском языке русскому слову *счастье* соответствует несколько лексических единиц, означающих, в частности, *счастье* как «удача, везение, благоприятное стечение обстоятельств» (ср. русское *счастье привалило*) и как «гармония, слияние с самим собой, с другими людьми, с природой».

Изменник, или *предатель*, заранее и обычно за вознаграждение готовится к тому, чтобы совершить что-то очень плохое тому (или тем), с кем он вел себя как друг и единомышленник, кому выказывал свою преданность (см. выше о *предать* в значении «отдать»). Именно так, согласно Евангелию, вел себя Иуда Искариот. Будучи одним из учеников Христа, он за плату указал римским стражникам, кто же среди других людей именно Христос. В русском языке имя Иуды стало нарицательным обозначением предателя. Рассказывая о корыстном уничтожении старостой завещания об освобождении крестьян его же деревни, Н.А. Некрасов пишет: «*Все прощает Бог, но иудин грех не прощается*». Для подобных поступков в русском языке есть и другие слова: *вероломный* (с прозрачной внутренней структурой), *коварный*.

Однако *предательство* и *измена* могут совершаться не только с корыстной целью и по предварительному расчету. Человек может не выдержать некоторых соблазнов, толкающих его на предательство. Именно так поступил сын Тараса Бульбы Андрей. А его решительный отец не допускал никаких смягчающих обстоятельств в отношении предательства. Причиной предательства могут стать не только соблазны, но и, например, невыносимые пытки. История нашей страны во время правления Сталина знает множество примеров, когда очень достойные люди под пытками подтверждали все что угодно. В том числе и то, что могло быть и предательством.

Железный занавес, атмосфера осажденной крепости, постоянные поиски врагов и злоумышленников, поощрение доноительства – все эти обстоятельства создали предпосылки и для расширения значения слов *предатель*, *предательство*, *изменник*, *измена*. Именно таким образом стали нередко именовать тех, кто отступил от официальной политической линии, «сделался иным», «изменился». При таком понимании значений соответствующих слов не различается, с одной стороны, *иудин грех* (заранее обдуманый в корыстных целях обман доверившихся людей) и «объективное пособничество врагу в результате слабости», и обычное изменение взглядов и представлений глубоко размышляющего о жизни человека.

Выход из какой-либо организации, в целях, методах, руководителях которой человек глубоко и серьезно разочаровался, нельзя называть *предательством*. Более того. Это слово как обвинительное клеймо используют именно те, кто ставит превыше всего не принципы, идеалы и цели, но исключительно личную преданность. Именно на таких принципах строятся такие организации, которые принято называть *банда*, *мафия*, *организованная преступная группа*.

Как известно, апостол Павел в начале своей жизни носил имя Савла и весьма активно преследовал христиан. Его отказ от прежней жизни и следование Христу никак нельзя назвать *предательством* или *изменой*. Таким же образом трудно согласиться с теми, кто называет *предателями* тех руководящих деятелей КПСС, которые поняли тупиковость пути, по которому шла страна, и попытались более или менее успешно изменить это движение. Размытое употребление слов *предатель*, *предательство*, *измена*, *изменник* не помогает нам правильно понять цели и причины поступков других людей. Никак не пытаюсь оправдать тех, кто совершает *иудин грех*, призываю всякий раз очень серьезно подумать, прежде чем употребить соответствующие слова в отношении тех или других людей и их поступков

Язык как главный герой

Андрей Дмитриев, Владимир Елистратов, Мария Захарова, Ирина Левонтина, Игорь Милославский, Дмитрий Александрович Пригов, Наталья Рубанова, Михаил Эдельштейн

На протяжении всего минувшего года журнал "Знамя" вел рубрику "Родная речь", посвященную актуальным проблемам бытования и развития русского языка. В этом году мы решили продолжить этот проект, но уже в ином аспекте — предложить поэтам, прозаикам, критикам, лингвистам и культурологам обсудить состояние языка современной русской литературы и его взаимодействие с жизнью, с той языковой средой, из которой он вырастает и на которую, в свою очередь, оказывает (во всяком случае, предполагается, что должен оказывать) влияние.

В марте в рамках национальной выставки-ярмарки "Книги России" на ВВЦ мы провели — совместно с Федеральным агентством по печати и средствам массовых коммуникаций — "круглый стол" "Русский литературный". Сегодня мы начинаем публиковать прозвучавшие на нем выступления. Приглашаем всех заинтересованных лиц к продолжению разговора.

Андрей Дмитриев

Причин решительной модернизации литературного языка может быть несколько (техническая модернизация жизни, например), но я бы сейчас остановился на одной. Я говорю о борьбе и смене литературных направлений. Сентиментализм, воцаряясь, решительно меняет язык, ибо возможности прежнего языка не могут уже дозвониться задачам и возможностям сентиментализма. Приходят романтики — приходит язык романтизма... И вот я, уже давно отошедший от филологических штудий, задаюсь простым вопросом: а почему, собственно, новые направления приходят на смену старым в ситуации, когда ни одно из них себя не изживает? Ни об одном из них нельзя сказать: все, иссякло, выдохлось и сдохло, сказало все, что могло сказать. Ни одно из них не изжило себя до сих пор. Если так, то почему происходит решительная смена направлений? То есть — что же такого принципиально нового и необходимого, кроме т.н. "свежести новизны", несут в себе новые направления? На мой нынешний и, надеюсь, все еще банальный взгляд, всякое направление соответствует определенной точке зрения на главный объект литературы, то есть на человека. Классицизм утверждает и отражает одну точку зрения на человека, сентиментализм — другую, романтизм — третью. Потому мы и в быту говорим до сих пор: этот человек сентиментален, а тот — романтичен, имея в виду вовсе не Стерна или Жуковского, но соседей по лестничной площадке. Одно направление сдает свои позиции, другое их завоевывает не потому, что одно исчерпало свои ресурсы, а другое нарастило мышцы, но потому, что меняется к нему отношение читающей публики, важнейшей и активной частью которой являются писатели. То есть, как только публика меняет свое отношение к человеку, она и требует, и создает, и развивает соответствующее этому взгляду литературное направление. И вырабатывает соответствующий литературный язык.

Реализм возник потому, что возобладало (или понадобилось) мнение о человеке, как о неисчерпаемом микромире, как о безграничном объеме, о тайне, постичь которую до конца невозможно, но есть смысл жить, мыслить и чувствовать, постигая ее. Понадобились и соответствующие — то есть уже безграничные — возможности языка. Именно поэтому реализм не только решительно развил литературный язык, но и вооружился едва ли не всеми приемами и находками предшествующих и сопутствующих литературных направлений, ничуть ими не гнушаясь. Все предшествующие, они же сопутствующие, реализму литературные направления хоть в каком-то смысле суть направления нормативистские, со своими рамками и табу, обусловленными рамками и табу, предложенными человеку. Взгляд на человека, явленный в реализме и реализмом развиваемый, — это, конечно, свободный взгляд, предполагающий, что человек изначально свободен. И, стало быть, язык и приемы реализма — свободны. Тут нет такого: шаг в сторону — побег. Тут любой шаг возможен, если необходим: и романтический сюжет, и сентиментальная лексика, и классическое единство времени и места, не говоря уже о собственных открытиях, таких, как углубленный психологизм или социальный анализ. Забегая вперед, можно сказать, что реализм использовал и углубил находки и приемы новых нормативистских направлений, прежде всего авангарда и даже постмодерна (назову хотя бы Солженицына, реалиста по существу, но по "орудийности", то есть по приемам и языку "Красного

колеса", его можно назвать и последним классиком авангарда) без какого-либо ущерба своим задачам и возможностям.

Забегал я вперед — и прибежал... Почему же все-таки в XX веке реализм был оттеснен с господствующих позиций, не только не исчерпав себя, но и продолжая открывать в себе все новые и новые возможности? А уж к концу двадцатого века быть реалистом стало, мягко говоря, немодно.

Отрицание реализма в конце двадцатого века обусловлено угасанием интереса к человеку как постигаемому микромиру и к тайне его.

Весь прошлый век психоанализ, социология, политология, педология и пр. пластали человека, как палтуса. И до Фрейда, и до Ленина — тоже пластали, ибо не только литературная, но всякая мысль — это мысль о человеке. Но все же не Лейбницу, но Фрейду и марксистам удалось убедить мир, что человек понятен, прост и легко объясним. (Тут небольшое отступление. Во время устного изложения этих тезисов критик Илья Кукулин возразил мне, что Фрейд считал человека неисчерпаемым... Фрейд-то, может, и считал, но миллионы людей, поверившие Фрейду и увлеченные его психоанализом, — так уже не считали. И поверившие марксистам — тоже не считали. Я уже не говорю о новейших учениях, увлекших мир, в которых человек — лишь частица страты, лишь мыш в социальной нише, а то и просто матрица...)

Как только мир поверил, что вся эта патологоанатомия и есть достоверное знание о человеке — человек сам по себе стал неинтересен.

Он стал неинтересен сам себе. Чего интересного, если и так все понятно, с какого боку ни посмотри? И реализм как литература горького и радостного узнавания человека сразу стал едва ли не нелеп.

Такова энергия заблуждения.

Одним из следствий этого заблуждения, этого уплощенного взгляда человека на самого себя должно было стать — и стало — уплощение языка литературы. Если нет иных побуждений к развитию и обогащению языка, кроме чисто игровых или честолюбивых (прослыть оригиналом, например), то в развитии и обогащении нет никакого смысла. Если артиллерийской батарее приказано палить по воробьям, она в конце концов перейдет на стрельбу из рогаток.

Еще одним следствием этого взгляда человека на самого себя стало уплощение читательских ожиданий.

Не всякий, совсем не всякий читатель — но читатель, убежденный, что ему и так все о человеке (стало быть, и о себе) известно — не нового знания ищет в повести или романе, не отгадок или подтверждения своих догадок о человеке, не разрешения своих недоумений, даже и не наблюдений. Он ищет подтверждения всего, что ему о человеке уже известно (а ему, как его убедили, о человеке все известно), но такого подтверждения, которое еще и *цепляет, вставляет*, то есть щекочет нервы, развлекает, в лучшем случае задевает какие-то струны — все те же нервы, в конце концов. Он ищет язык, на котором говорит сам, в пределах своего словарного запаса и в соответствии со своим словоупотреблением. То есть он ищет в литературе повод для самодовольства. Но это уже другой, отдельный разговор.

Владимир Елистратов

Как сказал поэт, "времена не выбирают, / В них живут и умирают". Мы живем во времена, которые нам достались. Единственный верный способ жить, на мой взгляд, — трезво оценить систему "я — мое время" и вписаться в свое время так, чтобы "не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы".

Мы, словесники (писатели, критики, публицисты, поэты и т.д. и т.д.), общаемся с миром через слово. Что такое слово в наше время, время, которое мы не выбирали и которое нам досталось? Как это ни грустно, слово сейчас — не Слово. Оно сейчас — имя нарицательное.

Многие, Н. Бердяев, например, предрекли приход Нового Средневековья. Вот оно и пришло. Только без своей сакральной составляющей. Чисто "профанный рынок", где слово — такой же товар, как и другие вещи. Нормальное варварство. Как говорил М.П. Фуко, Слово — вещь среди вещей. И словесник сейчас — это ремесленник. Один умеет "пальцевать" на бирже, другой — чинить проводку, третий — писать тексты. Востребованность всех троих примерно одинакова. Конечно, духовность с его Словом, иначе говоря, настоящая литература, где-то теплится. Будем считать, что она теплится, например, в "Знамени", еще где-то. И я не исключаю, что когда-нибудь потом, не очень скоро, все духовное и настоящее, то, что теплилось в наши времена, будет востребовано. Есть, конечно, такая надежда. Но какая-то она хлипкая. Во-первых, востребовано

будет далеко не все. Во-вторых, наше Слово превратится в архаизм и историзм. И потребуются комментарии. Я работаю с сотнями студентов в разных вузах. Для большей их части тексты В. Астафьева или А. Солженицына — что-то типа М. Хераскова или М. Ломоносова, и это не преувеличение.

Да, можно остаться в катакомбах. Творить Нетленку и ждать, когда тебе позвонят из Нобелевского комитета. Но из него вряд ли позвонят. Потому что даже Нобелевский комитет давно уже не интересуется Нетленкой.

Современная литература — это очень узкий, замкнутый мирок. Герметическая тусовка. По-моему, всерьез больная “комплексом катакомб”. Или, говоря современным языком, аутизмом. Некое шевеление внутри этого мира (например, как выразился здесь один из выступающих, “премиальный процесс”), печатанье книг тиражом в две тысячи экземпляров, который распродается несколько лет, “перестрелка” критиков в “толстяках” — все это создает иллюзию жизни. Да это и есть жизнь. Но самое печальное — это то, что читатели, те самые миллионы людей, ради которых все и происходит, и которые хотят (очень хотят!) читать, совершенно не в курсе этой жизни.

Есть другой путь. Можно выйти из катакомб и с предельным цинизмом продаться мамоне. Хотя, честно говоря, даже если очень захочешь “омамониться”, это не так-то просто сделать! Потому что надо жить в режиме перманентного, но крайне прихотливого заказа. Как говорил С. Довлатов: “Напишите-ка что-нибудь смешное про Древний Египет”. В современном мире — просто шквал таких заказов. А выполняют их, как правило, люди, мягко говоря, не очень профессиональные. А профессионалы живут своей катакомбно-аутистской жизнью.

Вот и получается что-то, ей-богу, нехорошее. Есть катакомбы, где идет своя бурная жизнь в масштабах 2000 экз. и где все гордо держат равнение на Вечность. А есть многомиллионный “мамоний рынок”, где растерянно озирается совсем неглупый читатель в поисках чего-то настоящего. И неужто прямо уж никак-никак нельзя найти того самого “срединного пути”, о котором уже не первое тысячелетие долдонят окосевшие от мудрости китайцы?

В катакомбах царит мнение, что срединного пути нет. Либо Бог, либо Мамона. А мнение это проистекает от генетической российской максималистской гордыни: сразу про Бога. А может быть, ты просто неплохой писатель? Не надо сразу “панибрататься” с Вечностью, Богом и прочими высокими материями. Тем более что панибратство с Небесами на нашей почве быстро переходит в амикошонство.

В редакции одной массово-желтой газеты с миллионным тиражом редактор как-то мне сказал: “Перечитывал тут Чехова. Какой язык! Жаль, что “Даму с собачкой” уже публиковали, а то бы я ее в рубрике “История любви” напечатал! Вот бы на форуме народ разволновался!”.

В катакомбах думают, что в мире мамоны и чистогана царит сплошной формат и сплошная бездуховность. Да формата там не больше, чем в катакомбах! В катакомбах ведь тоже “под Пастернака” — нельзя, “под Бродского” — нельзя. И, мягко говоря, “этикета” здесь хватает.

Мало того: мамона давно уже закрался в катакомбы. Тут, по-моему, только и разговоров, что о “премиальном поле” и “премиальном процессе”.

И еще в “поле мамоны” есть колоссальный дефицит просто хорошо пишущих людей. Пишущих про любовь, про дружбу, про смысл жизни, про машины, про собак, про кошек, про Древний Египет... Но здесь есть одно условие, сформулированное более двухсот лет назад Вольтером: “Все жанры хороши, кроме скучного”. И нескучным, живым должен быть в первую очередь язык.

Возможна ли смычка катакомб и мамоны? По-моему, да. Не мы первые. Антон Павлович Чехов, будучи еще интенсивно продававшимся мамоне Антошей Чехонте и Человеком без селезенки, любил говаривать, что “печататься надо везде, даже на подоконнике”. А Достоевский? А Розанов? А Булгаков с его производственным конвейером из фельетонов и либретто? И состоялся бы ли “Мастер и Маргарита” без фельетонов-то? Сомнительно.

Таково наше время. Ты сначала пробейся к массовому читателю, а потом уже пиши “Скрипку Ротшильда” и “Вишневый сад”. Или: пиши их, пробиваясь. Но только писать “Скрипку...” — этого мало. Грубо говоря: слишком жирно. Не те времена. Не та жизнь. Граф Л.Н. Толстой — это другое время. В наше время писатель должен пробиваться к читателю. Подчас — “наступая на горло” и т.д. Это жестоко. Но это так. Многие — ломаются. Но сильнейшие — выживают. Рынок, джунгли. Мы их не выбирали, мы в них родились.

У индусов есть понятия “дхарма” и “артха”. Это, наряду с “камой” и “макшей”, — важнейшие понятия индуизма. “Дхарма” — Вечный Закон, Нравственность, Мораль (Слово, Нетленное,

Вечность и т.д.) “Арта” — материальная выгода, успех, реальная жизнь, приработки ради семьи и т.п. Без “арти” и “дармы” не получится. И наоборот. В сознании и душе индуса они никак не противоречат друг другу. А у нас почему-то противоречат. Или это только кажется?

Мария Захарова

Не секрет, что современная русская литература переживает не лучшие времена: засилье беллетристики и падение интереса к книге, информатизация пространства и ускорение бытия... Человеку некогда, а то и просто уже неинтересно уделять внимание новой классической литературе... Неужели литература перестает быть выразителем мыслей и чаяний интеллигенции?! Неужели скоро книга как неотъемлемый факт жизни уйдет в прошлое?..

Откроешь современный роман — и кажется, что так и есть: литературный язык вымирает; втягивается в текст обыденность, сленг, просторечие; не отличишь героев друг от друга, а их, в свою очередь, от автора. Как будто не книга перед тобой, а сборник sms-сообщений, запись уличных разговоров. А если и есть претензия на “высокий” слог — возникает ощущение какой-то недоделанности языкового полотна, а иногда даже будто бы подделки, имитации чего-то настоящего... И начинаются бесконечные споры: правильно ли мы понимаем стиль и задачи классической литературы, может ли герой ругаться матом, если это так распространено в современной жизни, допустимы ли отступление от норм литературного языка в языке литературы; в конце концов, имеет ли право называться писателем тот, кто небрежен с языком?..

Много уже сказано, много еще будет сказано, но мне кажется, что проблема скрыта не здесь. Когда заходит разговор о классической литературе, о ее языке, о роли ее в современном мире, мы почему-то продолжаем мыслить критериями века девятнадцатого, в крайнем случае двадцатого, совершенно забывая о том, что на дворе уже двадцать первый век и мир изменился. Вольно или невольно все мы вовлечены в эту колоссальную перестройку мироощущения человечества, истоки которой в глобальной информатизации: мы, все вместе и каждый в отдельности, находимся внутри безграничного информационного поля: Интернет, СМИ, развитие образования... Мы все ощущаем это поле: еще в эпоху постмодернизма зазвучало “все уже сказано до нас”, чтобы сделать что-то новое, мы должны стать кем-то другим...

Реализм исчерпал свои возможности так же, как классицизм, романтизм, сентиментализм в свое время. Отзвучал и канул в прошлое модернизм. Постмодернизм пришел ему на смену и, продолжая двигаться вперед, тоже уходит... Течение времени непрерывно и бесконечно. Все должно двигаться вперед и меняться. Литература не исключение. Более того, литература и язык напрямую связаны с мироощущением человечества — следовательно, эволюция их неизбежна...

С моей точки зрения, классическая литература XXI века ни по форме, ни по стилю, ни по жанрам не совпадает с образцами предыдущих эпох (впрочем, и они не похожи друг на друга: сравните роман второй половины XIX века и классицистическую комедию середины XVIII). Отталкиваясь от тезисов постмодернизма, опираясь на все, что было, но уже прошло, в современной литературе звучат все те же вечные вопросы бытия человека, но уже в новом стиле, в новых жанрах...

Уже модернизм и постмодернизм из сферы реальности ушли в иномирье. Естественно искать их последователей в среде фантастики, фэнтези — в общем, литературы, создающей свою, новую реальность... Если анализировать язык лучших представителей этих жанров, картина получается иная: работа со словом заметнее, стиль чище, слово звучнее... И следов просторечья (бранной лексики, мата, ошибочного словоупотребления и формообразования), кстати, здесь практически нет. Более того, многие из авторов привлекают в свой текст лексику пассивного словаря русского языка (терминологию, архаизмы, историзмы), создавая многоуровневое лексическое многообразие, чего так не хватает современному русскому языку.

А ведь среди произведений этих жанров есть еще “игровые тексты”, о которых так мало пока сказано. Их язык вообще представляет собой сложнейшую филологическую загадку. Он насыщен интертекстом, аллюзиями, реминисценциями; постоянно работает с устойчивыми сочетаниями, фразеологизмами; разрушает речевые штампы, открывает новое в давно приевшихся языковых моделях; заставляет читателя активно мыслить, включаться в языковую игру, думать над привычными и потому незаметными вещами... На мой взгляд, это и есть язык классической литературы, настоящей литературы (да простят меня наши признанные современные классики, хотя, конечно, они меня не простят...).

Язык *современной* литературы — это — отражение восприятия *современными* писателями *современного* литературного языка (что, впрочем, верно для любого момента бытия языка и литературы). Мироощущение, мировосприятие человека

пишущего служит той призмой, через которую преломляется живой язык и переходит в другой, нет, не мертвый, скорее, *отраженный*, а потому нечеткий, сложный, разный...

Все, что есть в живом языке, находит свое отражение в языке литературы, но ведь, обратите внимание, именно отражение, не копию. А ведь все, кто хоть раз в жизни задержал взгляд на зеркале, на речной глади, на любом отражении, почувствовали, что, кроме слегка искаженной картинки, есть там что-то еще, практически невыразимое, но безусловно важное... За языком литературы должен быть мир художественного произведения, должен быть подтекст, должно быть то важное, ради чего, собственно, и пишется художественный текст... Во многих же романах, повестях, рассказах, даже стихах современных, кроме самого текста, иногда красивого, иногда корявого, нет ничего иного: все ясно, все понятно, информация ради информации, текст ради текста. Наверное, именно потому столько споров о языке литературы, что сейчас, *на мой взгляд*, далеко не все то, что относят к литературным произведениям, на самом деле является литературой... Но это вопрос дискуссионный, спорный, а потому в творческом мире — печальный...

В общем, мне кажется, что язык современной литературы, настоящей литературы, по-прежнему прекрасен, только литературу нужно грамотно отделить от беллетристики... Но это мое мнение.

Ирина Левонтина

Как мне кажется, сейчас происходит важный процесс, который мы пока не очень осознаем, потому что нами слишком владеют стереотипы времени русской классической литературы. Однако с тех пор многое незаметно изменилось. Изменилось соотношение языка художественной литературы и литературного языка.

Язык меняется, не может не меняться. Разумеется, все новое — это сначала неправильность, будь то поэтическая вольность или речевая погрешность. А потом либо мы к ней привыкаем, либо она так и остается казусом.

Мы привыкли считать, что генерирование новых смыслов в языке происходит так (конечно, я несколько огрубляю). Писатель, прозревая суть вещей, обнаруживает какое-то новое явление, находит для этого явления словесное обозначение и начинает использовать его в своих произведениях. Публика читает, проникается новым пониманием и усваивает новое слово. Затем слово начинает жить уже своей жизнью, насыщаясь новыми смыслами.

Так произошло со словом *надрыв* в его психологическом значении. Оно вошло в литературный язык после "Братьев Карамазовых". Герои романа все время твердят: "Надрыв, надрыв", особенно когда обсуждают вымученную, надуманную, истерически-жертвенную страсть Катерины Ивановны к Мите Карамазову.

Появление у позднего Достоевского, на закате эпохи так называемого шестидесятничества, понятия *надрыва* весьма знаменательно. Слово найдено — и слово, звучащее отнюдь не апологетически. Одной из ценностей дворянской культуры, отвергнутой разночинцами, было то, что можно назвать внешним лоском, или хорошими манерами, или *comme il faut*, или *светскостью*, или *дендизмом*, а отсутствие одного — *вульгарностью* или *дурным тоном*. Разночинцы увидели в этом поверхность и фальшь и противопоставили условностям, канону культ искренности и глубины. Особенностью разночинской поведенческой модели стала гремучая смесь безудержной откровенности с романтической патетикой и тягой к "безднам", столь знакомая тому, кто когда-либо читал письма Белинского Бакунину, дневники Чернышевского или другие документы внутренней жизни людей этого социально-психологического типа. Так что столь вовремя "вброшенное" Достоевским слово *надрыв* оказалось совершенно необходимым языку, оно прижилось и зажило собственной жизнью.

XX век сообщил слову *надрыв* новую интонацию. В нем появилось эстетическое измерение. Для Достоевского надрыв был еще интересен и эстетически привлекателен, хотя и чреват неправдой. Сейчас он обычно оценивается как безвкусица. "Вы любите Андреева? — Нет, — с характерной для него афористичностью формулирует Довлатов. — Он пышный и с надрывом".

Сейчас тоже эпоха культурного слома. Меняются наши представления о жизни, наша система ценностей и многое другое. Для всего этого нужен новый язык. Однако в поисках упаковки для новых смыслов язык больше не обращается — или редко обращается — к писателям. В своей статье в "Знамени" (2006, № 9) я рассказала о некоторых неологизмах последнего времени, в частности о сочетании *успешный человек*. Профессиональные переводчики некоторое время сопротивлялись такому переводу английского *successful man*, но их никто не слушал. Да и как слушать, если русский язык почти не умел говорить о личном успехе "в положительном смысле". Таких "недопереведенных с иностранного" слов и выражений сейчас много, и те из них, которые

заполняют смысловые лакуны, стремительно распространяются. Через год-другой людей уже невозможно убедить в том, что еще недавно так не говорили.

Мы смеемся над языком рекламы или (тут уж у кого какой темперамент) лопаемся от злости, читая о *креме для зрелой кожи вокруг глаз*. Но если отбросить высокомерие интеллигента, то надо признать, что язык тут по-своему прав. Ну что делать, если сейчас царит культ молодости, культ политкорректности, культ "позитива". И зачем отпугивать покупателя сочетанием *увядающая кожа*, если так просто увядающую кожу назвать *зрелой*, плохую кожу — *проблемной*, а стареющую тетку — *возрастной женщиной*? Так что теперь язык черпает новые смыслы все больше не из романов, а из дурных переводов сомнительных текстов, из косноязычного языка рекламы. "Творческая лаборатория" переехала.

Игорь Милославский

Не следует думать, что высокие и справедливые оценки русского языка, высказанные М.В. Ломоносовым, И.С. Тургеневым, Л.Н. Толстым и другими выдающимися деятелями русской культуры XVIII — XIX веков, принадлежат русскому языку навечно. Я думаю, что эти оценки нуждаются в неперенном постоянном подтверждении, только тогда они останутся справедливыми и по отношению к русскому языку конца XX — начала XXI века.

Как известно, на протяжении своей истории русский литературный язык постоянно обогащался, обозначая перемены в отражаемой им действительности, как за счет творческих усилий людей, говорящих по-русски, так и за счет заимствований из других языков.

Говоря о заимствованиях, следует особо выделить церковно-славянский язык, язык православного богослужения у славян, который дал русскому языку многие слова, необходимые для абстрактного и нравственного осмысления действительности. Таковы, например, все наши слова с первой частью *благо-*. Очевидна также важная роль в обогащении русского языка, которую сыграли западноевропейские языки, в петровские времена — немецкий, позднее — французский, в новейшее время — английский. Я уже устал писать о том, что принятые русским языком англицизмы обычно называют то новое, что остается по-русски либо никак не названным вовсе, либо обозначают не совсем то, что обозначает близкое по значению русское слово, обогащая, таким образом, наши представления о мире. Всякий *киллер* — *убийца*, но не всякий *убийца* — *киллер*. Евгений Онегин и Родион Раскольников, Николай Ежов и Эрих Кох при всем различии между ними — *убийцы*, но никак не *киллеры*.

Киллер — это только "профессиональный, наемный и тайный убийца", в отличие от *палача*, который, хотя "профессиональный" и "наемный", но не "тайный". *Образ* — это представление о предмете, спонтанно возникающее в головах людей, а *имидж* — представление, сознательно и последовательно формируемое именно кем-то в головах людей. Число таких примеров очень легко увеличить. Как легко и доказать то, что заимствования лишены тех ассоциаций и связей с другими словами, которые характеризуют исконные слова.

Говоря об обогащении русского языка в результате творческих усилий говорящих по-русски людей, следует, по-моему, выделить два момента. Народное творчество, отраженное прежде всего в диалектах русского языка, и творчество выдающихся деятелей культуры. Напомню о том, что многие слова и устойчивые выражения современного русского языка имеют авторство И.А. Крылова, А.С. Грибоедова, Н.М. Карамзина, Ф.М. Достоевского или, например, В.В. Маяковского. И хотя народный родник языкового творчества не может иссякнуть, он вследствие социальных катаклизмов и научно-технических революций сильно замутился, разделяя судьбу народной музыки, народного танца, народных промыслов и других подобных явлений. Тем большая ответственность за совершенствование русского языка ложится на выдающихся деятелей, говорящих по-русски, писателей, политиков, артистов, режиссеров, журналистов, телеведущих, всех публичных людей.

Упомянув об ответственности, я имею в виду не только необходимость отторжения таких слов и выражений, за которыми стоят пустота, невнятица либо бессмысленность (*особый путь, развитой социализм, суверенная демократия, энергетическая сверхдержава*). Речь идет о том вопросе, который весьма непривычен всем тем, кто когда-либо изучал школьный предмет "русский язык" и имел дело только с написанными (реже — звучащими) текстами. Я имею в виду вопрос о том, КАК НАЗВАТЬ тот или иной предмет, явление или характеристику действительности, которые, оказавшись недавно созданными и /или обнаруженными, не могут быть точно и кратко отражены уже имеющимися словами. Как известно, именно таким вопросом задавался сам А.С. Пушкин, пытаясь охарактеризовать то, что было в петербургской Татьяне (*du comme il faut*), и то, чего в ней не было (*vulgar*), и даже просил прощения у Шишкова, не зная, "как перевести".

(Современные издатели А.С. Пушкина предлагают в качестве эквивалентов *благородство* и *вульгарность*. См. выше о церковно-славянском и английском языках).

К сожалению, таких разнообразных "вещей", которые мы должны как-то назвать, в современной российской жизни все больше, а названия, если и предлагаются, не всегда являются самыми удачными. Неужели для специализированных мясных и рыбных ресторанов нельзя найти названий лучше, чем *steak-house* и *fish-house*? Почему, например, не *мясолюб* или *мясоед*, *рыбник* или *рыбница*? (Я не настаиваю!). И интеллектуальный Николай Фоменко, говоря на TV о том состоянии артиста, когда "не с кем и некому", едва ли прав, предлагая обозначить это состояние словом *зависть*. А удачно ли предлагаемое "Известиями" для обозначения нашего нынешнего общественного строя слово *социкапизм*? А как назвать состояние Наташи Ростовской на балу, которое так замечательно и подробно описано в "Войне и мире"? Я постоянно мучаюсь, не зная, как коротко назвать (хорошо бы и осудительно, и нейтрально, т.е. имея два разных слова) тех своих немалочисленных студентов, которых интересуют только отметки в зачетной книжке, а не реальные знания. Зато я знаю название для конечной их цели. Это — *корочки* (ср. *диплом*).

Думаю, что ответственные говорящие по-русски люди (хотел написать *элита*, но слово это, обозначающее "лучшие", так скомпрометировано в последнее время обозначением не только не "лучших", но "позорящих" и "нерукопожатных") должны проникнуться необходимостью сознательных усилий по совершенствованию русского языка. Речь идет не только о нормативности. (Правда, я был просто потрясен обилием грубых нарушений норм русского литературного языка в устной речи Оксаны Робски в ее выступлении по "Эху Москвы" 05.04.07.)

Я имею в виду прежде всего точное отражение самых разнообразных сторон не действительности XIX века, а именно окружающей нас действительности. Доставшийся нам в наследство русский язык XIX века умел не только обозначать современную ему действительность, но умел выражать одновременно отношение и к этой действительности, и к адресату нашей речи. Именно поэтому он был и великим, и могучим. Кто и как пытается реализовать эти замечательные качества русского языка в наше время по отношению к окружающей нас стремительно меняющейся реальности?

Обращусь к примерам. Е.А. Евтушенко придумал слово *васькизм*, обозначая так ситуацию, описанную в известной басне И.А. Крылова "Кот и повар". Действительно, наше современное общество очень нуждается в словах, обозначающих и саму такую ситуацию, и в словах, обозначающих действия ее участников. Ведь кот не просто *не обращает внимания, игнорирует*, но при этом продолжает свое неблагородное дело. И повар не просто *болтает* или *обличает*, он как бы (ключевое слово!) *борется* против злодеяний кота. Но слово *васькизм* не прижилось. Почему, можно лишь предполагать. А вот без введенного Л.Н. Гумилевым слова *пассионарность* мы уже не можем обойтись...

Лично я разделяю позицию тех, кто видит серьезные конкретные проблемы, стоящие перед русским языком, и огромные трудности их решения. Я сомневаюсь в правоте тех, кто полагает, что все *образуется* само собой. Я тем более не разделяю позицию тех, кто считает, что сейчас с русским языком, как и во времена Ломоносова — Тургенева, все обстоит вполне хорошо, а *отдельные недостатки* проявляются в нем из-за деятельности русофобов, в первую очередь западных. (На самом деле и во времена Ломоносова, и во времена Тургенева перед русским языком стояли весьма серьезные, хотя и разные в каждый период, проблемы. Их удалось успешно решить благодаря усилиям образованных и не очень образованных людей, говоривших по-русски.) Я также не согласен с теми, кто, если и связывает эти отдельные *недостатки* самими русскоговорящими людьми, объясняет это положение такими словами, как *милая беспечность, широта души* и т.п.

Дмитрий Александрович Пригов

Чем отличается язык художественного произведения, вернее, сам художественный текст от любого другого — да ничем. Исключительно жестом назначения. То есть помещением в определенный контекст и считыванием соответствующей культурной оптикой.

Понятно, что, скажем, поставление официального текста на место художественного, так сказать, назначение его текстом художественным, понимается как жест. Автор же, в данном случае, вычитывается не на языковом, но на манипулятивно-режиссерском уровне, где языки предстают героями данной драматургии. Привычная же оптика прочтения художественных текстов заставляет обнаруживать в нем, попавшем в зону высокой культуры, и соответственно, подлежащем привычной процедуре прочтения, не подозреваемые досель тонкости, достоинства и парадоксы.

Известно ведь, что многие официальные, частные и коммерческие документы со временем, то есть попав в иной временной и культурный контекст, обретают черты языковой неординарности и художественной выразительности. А вроде бы вполне ясные и четкие признаки литературности (такие как стихотворный размер и рифма) использовались с целями, далекими от художественных — изложения, скажем, научных доктрин, логических и философских измышлений.

Кстати, весьма показательный пример для иллюстраций подобных рассуждений можно найти в сфере изобразительного искусства. Мы имеем в виду Марселя Дюшана с его пресловутым писсуаром, выставленным в самом начале прошлого века в одной из парижских художественных галерей. Ну, писсуар как писсуар, неотличимый от множества подобных в обычных квартирах мирных парижан того, да и нашего времени. И что же? Многие доброжелательные критики того времени, не склонные с порога отрицать новаторство и новаторов, стали отыскивать (и вот чудо — таки отыскали!) в нехитром предмете сантехники неложное сходство с Венерой Милосской. Так ведь их культурная оптика и была настроена на этот уровень визуального языка. Так ведь все, попадающее в ее поле зрения в санкционированном месте объявления предметов высокого искусства, и начинает быть этим самым — пластикой. Так ведь и наш писсуар, несомненно, обладает теми достоинствами, которые никому просто в светлом бытовом обиходе не приходило в голову описывать подобным способом. Ну — приятная вещь. Ну — неплохой дизайн. Но ведь не Венера Милосская! Разве только в шутку можно было приписать ему эти достоинства. Так ведь и в названной парижской галерее был выставлен вовсе не писсуар и не, тем более, Венера Милосская, но жест переноса из одного контекста в другой. И вот — писсуар заблистал невиданными качествами и достоинствами. Ну, понятно, для тех, для кого заблистал. И до сих пор ведь выставляется в музее, привлекая немалое количество любителей современного искусства, не удовлетворяющихся одним, кажущимся для некоторых достаточным, описанием, подобно моему, сего акта.

Между прочим, проблемы многих современных российских литераторов в их отношениях с известным "Квадратом" Малевича лежат в той же плоскости. Их привычный культурный глаз, нацеленный на считывание привычных кодов, дает сбой. А иная оптика не выработана.

Сходное же произошло и с соцартом, обнаружившим официальный советский язык как объект для подобного рода переноса. И оказалось, что воспринимаемый доселе истинными мастерами художественного слова как "собачий язык", попав в поле привычной культурной оптики, он заиграл не обнаруживаемыми доселе оттенками пластики. Нечто похожее с советским бытовым языком произвели Зощенко и Хармс. Другое дело, что иной возраст культуры, да и официальный советский язык более жесток и почти лишен экзистенциального пласта, которым в преизбытке наделен язык бытовой. Посему в соцарте гораздо более откровенен этот указующий жест и как бы грамматика прочтения советского языка и мифа, которая вполне может быть применена к прочтению и интерпретации любого иного языка, вернее, дискурса.

Надо заметить, что постмодернизм с приписываемой ему вульгарно понимаемой смертью автора просто переносит реализацию и разрешение авторских переживаний и амбиций на другой уровень, в зону жеста, манипуляций и стратегий, где разнообразные языки и дискурсы существуют не как пространства исповеди и самореализации, но как персонажи и герои. И, надо заметить, весь комплекс творческо-экзистенциальных переживаний наличествует и вполне сопоставим с подобным же у авторов традиционных направлений. Но это так, к слову.

К сожалению, в отличие от визуального искусства, где указанный уровень вполне считываем, найдены способы экспозиции, музеефикации и продажи названных жестов и стратегий, в литературе до сих пор не разработана оптика их опознаний. Они находятся в серой зоне неразличения и посему просто отторгаются. И, кстати, зачастую находят убежище, пристанище и свободу в области современного изобразительного искусства. Если выразиться более общо, то есть подозрение, что литература вообще онтологически положена в XIX веке и просто длится в наше время как большой художественный промысел и зона изысканных и не очень изысканных развлечений. То, что ныне обзывается энтертейментом.

Ну, естественно, встает вопрос переживаний, наслаждений, восторгов по поводу конкретных художественных текстов. Так ведь это уже читательские проблемы. Можно заходиться восторгом от песен Киркорова, стихов Асадова, расписных матрешек, народных хоров, стихотворных и визуальных опусов соседа или же собственного ребенка. То есть на всякого умного найдется еще более умный, на всякого глубоко чувствующего — еще более чувствующий.

И, естественно, не избежать вопроса о взаимоотношении автора с языком. Надо заметить, что новаторство как основной тип языковой деятельности и модус авторского существования, доминировавший с конца девятнадцатого века, давно достиг уже критической массы явленных

убедительных примеров подобного рода артистической активности. Даже самые изощренные опыты в этой области ныне воспринимаются просто воспроизведением известного, утвердившегося и вполне уже вошедшего в обиход образа автора, допытывающегося истины в глубинах языка.

Но предполагается, что все — общее. Всеобщее. До сей поры использование даже вполне угадываемых чужих художественных приемов считается вполне приемлемым.

— Сколько вам лет?

— Сколько всем, столько и мне.

Понине туча стихотворцев пишет в общем пастернако-мандельштамо-ахматово-цветаево-бродском компоте. А желание и способность излагать хитрые, нехитрые, авантюрные, любовные и трагические сюжеты как бы общим языком вообще не подвергается сомнению. Что уж тут говорить о некой изношенности не языка, а типов художественного поведения! Кто различит? Собственно, оптики различительной нет.

Надо заметить, что в логике моего рассуждения как раз и нету осуждения использования известных способов письма — классицистически ясного, барочно-преизбыточного, сказово-орнаментального, окафкиански-протокольного и прочих. Все они суть ресурс пользования. Просто надо обладать культурной вменяемостью, пониманием, что откуда черпается, и быть чистым в пределах избранной аксиоматики.

И вообще, то, что нынче покрывается одним определением "литература", является весьма разнородными продуктами, порой разительно отличаясь друг от друга и не попадая в общие рамки. Примером, кстати, может служить структурирование музыкального пространства, которое, отказавшись от традиционного аристократического вертикального построения литературы, объявило номинационную систему, противостоящую амбициям рынка поглотить все соответственно своей позиции власти. И, соответственно, наличествуют номинации: лучший певец кантри, лучший певец рэпа, лучший саунд, лучший классический музыкант и т.д., когда Баренбойм не соревнуется с Майклом Джексонем. Невозможно быть лучшим вообще, но лучшим в своей номинации. И в каждой свои деньги, свои идеалы и критерии успеха.

Естественно, всегда будет какая-то и, возможно, немалая часть населения (как творцов, так и потребителей), для которой переживание пластики языка является делом немалых персональных усилий, сокровенных переживаний, неземных откровений и устремлений. И Бог им в помощь.

Я же здесь говорю не о языке художественной литературы, но о стратегии и о пространстве, в пределах которого языковые высказывания могут быть прочитаны, поняты и интерпретированы.

В общем, кому что интересно — тот о том и говорит.

Наталья Рубанова

По замечанию *Сергея Гедройца*, **"стиль — это жизнь ума в тексте"**. Переданная текстом как есть, с преобразующим отставанием на какую-нибудь разве что миллисекунду. Или, ладно, пусть это будет иллюзия — что внутренняя речь превращается во внешнюю буквально на наших глазах, в чем и смысл всего занятия".

Язык художественной прозы — то есть современный русский язык — прежде всего ставит вопрос об этой самой "жизни ума в тексте": либо есть, либо нет. Не буду о пресловутом *снижении* неких литературных "планок" или "стандартов" (особенно это касается так называемого нового реализма, бытописательской или военной "прозы" — в частности, у молодых как бы "подающих надежды" авторов, а также текстов в мягких обложках "для женщин", что равноценно клейму "для умственно отсталых"). В качестве примера приведу творчество нескольких значимых персон, оказавших вольно или невольно заметное влияние на текущий литпроцесс. Как бы "из него" их не выпихивали. Все они очень по-разному используют такой инструмент как "русский литературный"; по большому счету, у них нет ничего общего (кроме, пожалуй, гендера: предвидя же некорректные реплики по поводу "деления" писателей по половому признаку, которое сродни разве что анахронизмам вроде 23 Февраля и 8 Марта, сразу эту тему закрою). Однако их тексты, несмотря на свою сложность, цепляют иногда даже и "неподготовленного" читателя, которому не так уж важно, пользуется ли автор "языком Набокова" или "языком улицы". Попробуем же — в самых общих чертах за отсутствием времени — поговорить о языке этих прозаиков. То есть будем говорить именно что о *хорошем* — вопреки скучным разговорам о так называемом "умирании" русского литературного языка, что, конечно, абсурдно.

Но перед этим позволю себе три небольшие цитаты:

1. "Ночью в сон просыпались откуда-то сверху, из бескрайней темени, в которую она обычно вглядывается перед сном, золотые искры то ли расплавленных звезд, то ли цветов дрока, во всяком случае, руки, осыпавшей этой цветущей благодатью, видно не было, только тонкий улетающий звон крошечных, благозвучных стремян оставался долго в ушах и затих постепенно, в глубине нового более крепкого засыпания, но еще и утром, проснувшись и лежа с закрытыми глазами, чтобы не отпустить, сколько можно, этой музыки, этого цветочно-звездного ливня в темноте окружающей ночи, ощущала явственный душистый озон райских территорий, а душа уже начинала оплакивать их, сжимаемая неумолимым пинцетиком сознания: наверно, давление"¹.

2. "Мой перевод наших разговоров неточен. Загвоздка заключена тут в дипломатичности английского языка — дипломатичности, с элегантною простотою вуалирующей суть отношений. Можно утверждать и обратное: загвоздка тут в эротичности английского языка, которая позволяет вовлеченному поиграть с мерцающей гранью, погонять туда-сюда оптический фокус по зыбкой, издевательски зыбкой дистанции. Короче, дело тут в колдовской двуликости английского "you". Для носителей означенного языка — это обыденное обращение: какая разница, что именно в него вкладывать — "ты" или "вы". Пожалуй, главный смысл этого звуко сигнала именно в том, что "you" — это именно *другой, не-я*. То бишь: есть ты (вы) — а есть я; между нами граница. Предельно отжатый вариант такого взгляда выразил, правда, представитель не англосаксов, но галлов: "Ад — это другие".²

3. "Во всем — во всем — во всем — ошибка, не надо зимой вылезать из берлоги, надо лежать и сосать лапу. Но я тебя найду, я тебя прикончу, ошибка, я тебя не делал, ты мной овладела сама, я твой, ты гонялась за мной, но, как только я тебя увижу, я тебя убью, все будет безоблачно без ошибки, а пока мы с тобой будем бороться, ошибка, и не думай, что ты сильнее меня, что ты опытней, я способней тебя, я тебя съем, я тебя сначала загрызу, потом выплуну, а потом еще живую отдам на растерзание правилам, а потом сжалюсь над тобой, может, я даже отпущу тебя на волю, если ты себя будешь хорошо вести, если ты не будешь вползать в меня, может, я тебя даже поцелую на прощание, ошибка, но только мне сначала тебя надо найти, где ты? Покажись сама или тебе будет хуже, если я сам тебя найду, лучше откройся, а нет, так я тебя разыщу все равно, где ты? Моя ошибка, я был честен перед тобой, моя ошибка, а ты привела своих сестер — целый ряд ошибок, они стали тебе подражать, но первую я должен найти тебя, а сестры твои пойдут друг за дружкой вслед за тобой. А когда я тебя найду и выброшу из головы, я даже испытаю к тебе страсть, не думай, что я тебя так быстро забуду, моя ошибка!"³

...и обратиться к их авторам:

1. *Ольга Татаринова* — продолжатель лучших традиций российской словесности начала двадцатого. При внимательном прочтении можно было "угадать" в ее текстах Бунина и Чехова, а из зарубежных писателей — Пруста, Вулф. Особенно выпуклы эти "линии" в ее новом (последнем, изданном при жизни) романе "SPRING.DOC" ("Алетья", 2007). Автометаописание, смешение fiction и non-fiction, изысканная — без придуманных "изысков" — фактура, самобытный, самодостаточный, великолепный русский литературный язык.

2. *Марина Палей* — блистательный прозаик, великолепный стилист (слово, которое подчас незаслуженно награждается негативной коннотацией). Новую волну интереса к ее персоне вызвал "большекнижный" (2006) роман "Клеменс", язык которого — язык, практически утраченный современными авторами. При упоминании о Палей невозможно не вспомнить о Набокове, но не как о "тени", в которой развивается творчество этого писателя (вопреки расхожему мнению), а скорее как об одном из солнц ее Космоса, живительные лучи которого непрестанно питают ее творчество. Язык Палей уникален уже хотя бы из-за нескольких "примкнувших наречий" (английский, голландский, итальянский), благодаря которым ее русский становится год от года все более интересным — то есть происходит обогащение сознания и как следствие — языка. Этот вопрос почему-то до сих пор не поднимался специалистами, а ведь речь идет о так называемом "многослойном слухе" писателя, который чувствует и работает одновременно с несколькими лексическими слоями. В связи с этим обращаю ваше внимание на роман Марины Палей "Ланч" и недавно опубликованный новый роман "Жора Жирняго: памфлет-апокриф Тома Сплинтера, транссексуала и путешественника" ("Урал", №2, 2007).

3. *Валерия Нарбикова* — ни на кого не похожий писатель, великолепно владеющий "традиционным" русским литературным, и в то же время делающий с ним все что угодно, постоянно удивляющий читателя — и, вероятно, себя саму. Например, в ее повести "Султан и отшельник", опубликованной год назад в "Крещатике" (№3, 2006), как и в других, не менее интересных для филологов и "простых смертных читателей" текстов, так называемая "плотность жонглирования словами на душу строки" (Н.Р.) очень велика (что, замечу, вовсе не является

недостатком, как любят говорить иные, до мозга костей, реалисты), и неспроста, ведь автор предельно четко формулирует: “Для меня главный герой — язык”. Интуитивное письмо и поток сознания Нарбиковой — уникальное *perle*⁴, отсылающее нас, скажем, к “Аполлону Безобразову” Бориса Поплавского.

Любопытно отметить: если язык Нарбиковой остался практически таким же, каким и был лет десять назад, то язык Палей невероятно усложнился и обогатился: на этой по-настоящему выигрышной теме можно защитить не одну интереснейшую диссертацию.

А сейчас остается лишь перечислить авторов, наиболее полно выражающих в своих текстах *основные языковые тенденции* в современной прозе. Итак: Людмила Петрушевская (“Номер один, или В садах других возможностей”), Анастасия Гостева (“Притон просветленных”), Анна Старобинец (“Живые”), Василий Аксенов (“Вольтерьянцы и вольтерьянки”), Владимир Сорокин (“Лед”), Илья Стогоff (mASIAfucker), Виктор Пелевин (“Ника”), Роман Сенчин (“Бабки”), Юрий Мамлеев (“Блуждающее время”), etc.

Собственно, эти-то имена и приходят в голову в первую очередь, когда тебе задают тысяча первый “нескромный вопрос” о современном литпроцессе, и в частности о языке современного русского худлита.

Михаил Эдельштейн

С языком мейнстримной русской прозы в последнее десятилетие произошла, на мой взгляд, очень простая вещь — он выпал из сферы “общественного контроля”. Количество откровенной халтуры растет непрерывно — а много ли вы вспомните рецензий, где доказывалось бы, что произведение писателя Икс никуда не годится, так как означенный писатель слабо владеет русским языком? Фильтры не работают, на границе давно уже никакого замка. И вот результат: “Его профессионализм шел в направлении экономии времени...”; “Весной он снял невесту с парохода, и снятие это носило столь яркие и характерные черты, что не описать его нельзя...”; “Витя думал о том, как к лицу молодому парню эти вилы, и суконные портки, и чистая мякоть зеленого навоза...”; “В кособокой рубке топилась печка, и на звук Витиного мотора из нее показалась бабья голова в белом платке...” — повесть, целиком списанная с пособия “Как нельзя сказать по-русски”, не только печатается в “толстом” журнале, но получает по выходе положительные отзывы и в довершение попадает в шорт-лист вполне себе солидной и вроде бы вменяемой премии.

Дальше — больше. Открываем роман, получивший экспертную премию как главный текст литсезона, и читаем: “Эта почти рождественская звезда упала с необозримых технических небес и отметила Фета знаком избранничества перед своими товарищами”. Перед “своими”? То есть перед товарищами звезды? А “необозримых” — теперь значит “далеких”, “недосягаемых”? То, что раньше называлось заоблачными высотами? А “почти рождественская” — это нормально?

Самое забавное, что, сколько примеров ни выписывай, доказать ничего нельзя. Нет цехового консенсуса по самым элементарным вещам: так не пишут, так не говорят (примеры см. выше), это непрофессионально, это ниже нижнего предела обсуждения. Никакого нижнего предела давно не существует, безусловное потеряло свою безусловность, оттого и вспыхивают дискуссии по поводам, никаких дискуссий не предполагающим. “О вкусах не спорят” — да при чем тут спор о вкусах! Речь о том, что людям лучше Бархударова с Крючковым почитать (Розенталь слишком сложен, будем гуманны), а они вместо этого прозу пишут. “Толстой тоже с деепричастиями не справлялся” — ну так, *quod licet* Толстому... Когда ваши протеже “Анну Каренину” напишут — не забудьте сообщить.

Владимир Александрович Плунгян,
российский лингвист, специалист в области типологии, и грамматической теории, морфологии, корпусной лингвистики, африканистики, поэтики, член-корреспондент РАН, доктор филологических наук, сотрудник Института языкознания РАН и Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН, профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, Лауреат премии в области научно-популярной литературы «Просветитель»

Лексика – это, если отвлечься от терминологических тонкостей, наши обыденные слова, которыми мы друг с другом обмениваемся и которыми мы называем вещи и явления окружающего нас мира.

Непосвященный человек может подумать, что в разных языках мира слова более или менее одинаковые. Но действительно ли они одни и те же? Мы, конечно, готовы принять мысль, что в каких-то языках будут какие-то особые слова. Но на самом деле действительная разница между лексикой языков мира во много раз превосходит эти наши ожидания.

1.

Языки мира в наибольшей степени отличаются именно лексикой, причем отличаются иногда поразительно. Этот факт давно заметили исследователи и даже пытались делать на основании этого какие-то философские выводы. Самые простые примеры – это названия «вещей», т.е. в широком смысле материальных фрагментов окружающего нас мира. Допустим, части тела у человека. Люди ведь все одинаково устроены: у них две руки, две ноги, один нос, и т.п. Казалось бы, названия частей тела во всех языках должны быть легко сопоставимы и взаимопереводимы, ведь «объективная» реальность здесь одна и та же и при этом как будто бы предельно простая. Но не тут-то было. Так, уже со словом «рука» начинаются проблемы.

В русском языке мы называем словом «рука» всю конечность целиком. Очень многие языки, в том числе и западноевропейские, используют здесь два разных слова. В английском это – hand и arm. Одно из этих слов означает часть руки ниже кисти, другое – выше. А в русском нет специальных названий для этих частей, есть название только для целого.

Похожая разница есть во многих языках мира. Лингвисты долго думали, откуда же она взялась. И даже высказывалась такая остроумная гипотеза, что слово для руки целиком существует у тех народов, которые живут в основном в жарких странах и не носят одежды. Поэтому рука у них целиком и видна. А люди, которые носят одежду, у них видна только часть до кисти – поэтому эта часть оказывается выделенной и получает особое название. Так что два разных слова для обозначения руки должны появляться прежде всего у тех народов, которые живут в северных широтах. Примерно так же устроены и названия ноги – могут быть два разных слова для ступни и для верхней части ноги. Но это красивая гипотеза согласуется не со всеми фактами. Те же славянские языки, например, предпочитают единое обозначение и для руки, и для ноги. А между тем славяне живут и жили в умеренных широтах и пользуются одеждой. И наоборот, можем найти в тропиках такие языки, в которых есть два отдельных названия для конечностей человека.

2.

Чем сложнее область лексики, которую мы анализируем, тем больше появляется разных межъязыковых несовпадений.

Рассмотрим, например, названия периодов суток. Привычно обозначать эти периоды в такой последовательности: утро, день, вечер, ночь. Казалось бы, четыре очень ясных фрагмента, с понятными границами. Но как только разные языки ни делят этот период времени! Конечно, время восхода и захода солнца, как правило, имеет обозначение, это такие центральные точки, а всё остальное между ними может называться очень разными способами. Ещё один

хрестоматийный пример, о котором очень много писали лингвисты, – это названия цветов. Привычные нам семь цветов радуги, которые имеют базовые обозначения, являются производными прилагательными. Но далеко не во всех языках их выделяют именно семь. Есть языки, где очень бедный набор основных цветов – всего два или три. Есть языки, где их больше семи. Названия цветов эволюционируют. Существенно, что это не обязательно основано на цвете как таковом. Например, в системе цветообозначений могут различаться темные и светлые (или насыщенные и ненасыщенные) цвета. Здесь разницей тоже очень большой. Но эта область как раз довольно хорошо изучена, о названиях цветов написано множество книг и море статей...

3.

Обозначения степеней родства («имена родства») тоже в сильной степени зависят от системы устройства общества. Например, брат и сестра – сверхпривычные нам слова. Казалось бы, ну как иначе можно назвать ребенка тех же родителей? Но и здесь тоже есть колоссальное разнообразие. Оказывается, можно выбирать между старшим и младшим: в языке может не быть слова «брат», а только «старший брат» или «младший брат». Более того, можно при этом не различать пол ребенка. Так что встречаются языки, где нужно говорить не «сестра» или «брат», а «старший / младший ребенок тех же родителей»; но есть и еще более сложные системы.

На самом деле, мир ведь бесконечно разнообразен. И каждый язык – это довольно грубый снимок этого мира. В языке мы не можем отразить все. Лексика каждого языка что-то выбирает. И выбор, который делают разные языки, в этом смысле очень разный, потому что каждый язык – это очень схематичный слепок реальности. Он должен быть схематичным, чтобы мы друг с другом общались, могли понимать друг друга, могли оперировать относительно небольшим набором слов. Но для этого мы должны перейти от мира как он есть к его упрощенной схеме.

4.

Если такие различия имеются в относительно просто устроенных фрагментах действительности, то легко понять, насколько они оказываются сложнее и тоньше в случае абстрактной лексики: человеческих чувств, социальных отношениях, таких вещах, как ум, храбрость, воля, дружба и все прочее. Тут культурные и языковые различия огромны. И часто даже трудно сразу наладить взаимопонимание между носителями двух таких культур, если они пользуются разными словами.

5.

Известный пример таких различий в лексике – это глагол «любить». В принципе, понятие любви свойственно, наверное, всем человеческим культурам. Но вопрос в том, как оно выражается. Есть языки, где специального слова «любить» нет, используется тот же глагол, что и для обозначения смысла «хотеть». Есть языки, где нет даже и этого глагола, где выражение желания совпадает с чем-то еще. Но это уже совсем экзотика. А вот «любить» и «хотеть» в виде одного и того же слова – это очень распространенное явление. Из европейских языков, например, таков испанский. Глагол «querer» по-испански означает и хотеть, и любить одновременно, но по контексту различается. Но есть и обратные примеры, когда вместо одного глагола «любить» мы имеем несколько – два, три или даже больше разных «видов» любви. Для человеческой культуры и истории существенно, что одним из таких языков был древнегреческий. Специалисты говорят, что в древнегреческом языке есть, как минимум, четыре вида любви. Это эрос, филия, агапэ и сторгэ. Слово «эрос» нам знакомо – это чувственная любовь. Но еще различались любовь-дружба, возвышенная любовь и др. – и всё это были слова обыденного греческого языка.

Этот факт очень существенный, потому что он повлиял и на греческую философию, и на христианскую этику. В христианстве о любви говорится очень много на греческом языке, поскольку основные христианские тексты были греческими. Здесь есть очень интересное взаимодействие между устройством этой понятийной области в греческом и той философской системой, которая развивалась в пространстве греческого языка.

6.

Нет такой области лексики, где бы существительные, прилагательные и глаголы разных языков, даже самые простые, полностью бы совпадали по значению, будь то слова типа твердый / мягкий или типа идти / бежать, или что-то еще.

Но и сами существительные, прилагательные и глаголы также не являются универсальной вещью. Есть языки, где этих различий мы тоже не видим или практически не видим. Во многих языках, например, слова «обувь» и «ходить» – это одно и то же слово, которое в зависимости от контекста оказывается или существительным, или глаголом.

В языках может не быть прилагательных или предлогов. Вместо этого могут быть какие-то экзотические части речи. В языках могут быть удивительные слова, которые выражают такие комбинации и понятия, которые нам трудно себе даже представить. Так, например, в одном из северных наших языков есть специальный глагол, который означает «лежать и смотреть, как другие работают». В русском языке есть замечательный глагол «прохлаждаться», который обозначает похожую вещь, но не в точности такую же. И что самое важное, все это мы находим не только в крупных развитых языках современной Европы, но сколь угодно затерянный язык Новой Гвинеи или Амазонки содержит точно такой же набор колоссально сложных слов и понятий, которые не совпадают с нашими.

7.

Как к этому разнообразию относиться, что с этим делать, как его осмыслить? Лингвисты здесь часто впадали в крайности. Заметив факт необычайного разнообразия лексики, очень многие лингвисты делали вывод, что раз у нас разные слова, то это значит, что язык детерминирует модели нашего мышления: кто по-разному говорит, те по-разному и думают. Собственно, знаменитая гипотеза Сепира – Уорфа примерно это и утверждала. Однако Сепир и Уорф были далеко не первыми, кто говорил так: раньше те же идеи встречаются у Гумбольдта, у многих других.

Сейчас современные лингвисты стали куда осторожней, потому что, несмотря на все различия лексики в языках мира, в целом люди могут понять друг друга. Существует такая вещь, как перевод. Пусть несовершенный и неполный, но все-таки на уровне мышления люди ближе друг к другу, чем можно думать. А на уровне языка гораздо дальше, чем нам может показаться. Здесь есть зазор, над осмыслением которого современной науке еще нужно работать.

Почему языки такие разные. Популярная лингвистика /отрывок из книги/

Владимир Александрович Плунгян,

российский лингвист, специалист в области типологии, и грамматической теории, морфологии, корпусной лингвистики, африканистики, поэтики, член-корреспондент РАН, доктор филологических наук, сотрудник Института языкознания РАН и Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН, профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, Лауреат премии в области научно-популярной литературы «Просветитель»

Введение. Язык и наука о языке

Прежде чем сказать, о чем эта книга, попробуем ответить на такой вопрос:

Что самое удивительное в человеческом языке?

Ответить на него, конечно, непросто. Так много загадочного в языке, этом даре, объединяющем людей в пространстве и времени, что, пожалуй, было бы справедливо удивляться решительно всему, что имеется в языке и составляет его сущность. И всё-таки, даже согласившись, что в языке удивительно всё, можно заметить одну его особенность, которая всегда бросалась в глаза и занимала разум и воображение людей с древности.

Мы начали со слов **человеческий язык**.

Действительно, так часто говорят и пишут. Но ведь на самом деле у людей нет одного общего языка. Люди говорят на разных — и даже очень разных — языках, и таких языков на земле очень много (сейчас считается, что всего их около пяти тысяч или даже больше). Причем есть языки, похожие друг на друга, а есть такие, которые совсем, кажется, не имеют ничего общего. Конечно, и люди в разных частях земли не похожи друг на друга, они отличаются ростом, цветом глаз, волос или кожи, наконец, обычаями. Но разные люди, где бы они ни жили, всё же отличаются друг от друга гораздо меньше, чем могут отличаться друг от друга разные языки.

Вот это, может быть, и есть самое удивительное свойство — необыкновенное разнообразие человеческих языков.

О нем и пойдет речь в этой книге, которая так и называется — «Почему языки такие разные?». Мы поговорим о том, какие бывают языки в разных странах, чем они отличаются друг от друга, как друг на друга влияют, как появляются и исчезают — ведь языки, как и люди, могут рождаться и умирать. А еще они, тоже как люди, могут быть «родственниками» — и даже образовывать «семьи».

Ответы на эти вопросы (и многие другие, связанные с языком) ищет наука, которая называется лингвистика. Современная лингвистика — сравнительно молодая наука, по-настоящему она начала развиваться лишь в XX веке. Конечно, люди всегда интересовались языком, пытались составлять грамматики и словари, чтобы им было легче изучать чужие языки или понимать, что написано в старинных книгах. Составление грамматик помогло возникнуть лингвистике, но лингвистика не сводится к составлению грамматик: чтобы ухаживать за домашним попугаем, полезно знать кое-что из биологии, но ведь биология — это не наука о том, как ухаживать за попугаями. Вот и лингвистика — это не наука о том, как изучать иностранные языки.

Почему же она возникла так поздно? Причина — еще в одной загадке языка. Каждый из нас с самого рождения в совершенстве знает по крайней мере один язык. Этот язык называют родным языком человека. Младенец рождается немым и беспомощным, но в первые годы жизни в нем словно бы включается некий чудесный механизм, и он, слушая речь взрослых, обучается своему языку.

Взрослый человек тоже может выучить какой-нибудь иностранный язык, если будет, например, долго жить в чужой стране. Но у него это получится гораздо хуже, чем у младенца, — природа как бы приглушает у взрослых способности к усвоению языка. Конечно, бывают очень одаренные люди (их иногда называют полиглотами), которые свободно говорят на нескольких языках, но такое встречается редко. Вы почти всегда отличите иностранца, говорящего по-русски (пусть и очень хорошо), от человека, для которого русский язык — родной.

Так вот, загадка языка в том, что в человеке заложена способность к овладению языком, и лучше всего эта способность проявляется в раннем детстве.

А если человек может выучить язык «просто так», «сам по себе» — то нужна ли ему наука о языке? Ведь люди не рождаются с умением строить дома, управлять машинами или играть в шахматы — они долго, специально этому учатся. Но каждый нормальный человек рождается со способностью овладеть языком, его не надо этому учить — нужно только дать ему возможность слышать человеческую речь, и он сам заговорит.

Мы все умеем говорить на своем языке. Но мы не можем объяснить, как мы это делаем. Поэтому, например, иностранец может поставить нас в тупик самыми простыми вопросами. Действительно, попробуйте объяснить, какая разница между русскими словами теперь и сейчас. Первое побуждение — сказать, что никакой разницы нет. Но почему по-русски можно сказать:

Я *сейчас* приду, — а фраза

Я *теперь* приду звучит странно?

Точно так же в ответ на просьбу

Иди сюда! мы отвечаем: *Сейчас!* —

но никак не *Теперь!*

С другой стороны, мы скажем:

Лиза долго жила во Флориде, и теперь она неплохо знает английский язык, —

и заменить теперь на сейчас (...и сейчас она неплохо знает английский язык) в этом предложении, пожалуй, нельзя. Если вы не лингвист, вы не можете сказать, что в точности **значат** слова теперь и сейчас и **почему** в одном предложении уместно одно слово, а в другом — другое. Мы просто умеем их правильно употреблять, причем все мы, говорящие на русском языке, делаем это одинаково (или, по крайней мере, очень похожим образом).

Лингвисты говорят, что у каждого человека в голове есть **грамматика** его родного языка — механизм, который помогает человеку говорить правильно. Конечно, у каждого языка есть своя грамматика, поэтому нам так трудно выучить иностранный язык: нужно не только запомнить много слов, нужно еще понять законы, по которым они соединяются в предложения, а эти законы не похожи на те, которые действуют в нашем собственном языке.

Говоря на своем языке, мы пользуемся ими свободно, но не можем их сформулировать.

Можно ли представить себе шахматиста, который бы выигрывал партии в шахматы, но не мог при этом объяснить, как ходят фигуры? А между тем человек говорит на своем языке приблизительно так же, как этот странный шахматист. Он не осознает грамматики, которая спрятана у него в мозгу.

Задача лингвистики — «вытащить» эту грамматику на свет, сделать ее из тайной — явной. Это очень трудная задача: природа зачем-то позаботилась очень глубоко спрятать эти знания. Вот почему лингвистика так долго не становилась настоящей наукой, вот почему она и сейчас не знает ответа на многие вопросы.

Например, нужно честно предупредить, что по поводу языков мира лингвистика пока не знает:

— почему в мире так много языков?

— было ли в мире раньше больше языков или меньше?

— будет ли число языков уменьшаться или увеличиваться?

— почему языки так сильно отличаются друг от друга?

Конечно, лингвисты пытаются ответить и на эти вопросы. Но одни ученые дают такие ответы, с которыми другие ученые не соглашаются. Такие ответы называются гипотезами. Чтобы гипотеза превратилась в верное утверждение, нужно убедить всех в ее истинности.

Сейчас в лингвистике гораздо больше гипотез, чем доказанных утверждений. Но у нее всё впереди.

А теперь — поговорим всё же о том, что нам известно про разные языки.

Часть I. Как живут языки

Глава первая. Как изменяются языки

1. Языки похожие и непохожие

Языки бывают совсем непохожи друг на друга, а бывают, наоборот, очень похожи. Иногда два языка настолько похожи, что тот, кто знает один из этих языков, может понять всё или почти всё, что сказано на другом языке. Например, русский и белорусский — разные языки, но они очень похожи. Ни один язык так не похож на русский, как белорусский. Для тех, кто знает русский язык и учился писать по-русски, белорусский текст выглядит немного непривычно, но если вдуматься,

то в нем можно понять почти всё. Вот начало одного белорусского стихотворения (в котором я на всякий случай поставил ударения, чтобы читать было удобнее):

Стая́ ла я́ блыня ля вёскі,
як падаро́ жнік між даро́ г.
Вясно́ ю па́ далі пялёсткі,
нібы сняжы́ нкі, на муро́ г...

Попробуйте сначала сами догадаться, что значит это четверостишие. Какие отличия белорусского языка от русского удастся здесь заметить?

А теперь будем разбираться вместе. Прежде всего, оказывается, многие белорусские слова просто пишутся по-другому, а звучат так же, как русские. Например, первое слово в нашем стихотворении и русские, и белорусы произносят одинаково, но по-русски мы напишем: *стояла*. Еще сразу бросается в глаза, что вместо русской буквы *и* по-белорусски пишется «латинская» буква *i*. Действительно, буква *и* в белорусском языке не используется, а *i* читается так же, как русское *и*. Поэтому белорусское слово *падарожнік*, если его просто прочесть вслух, сразу окажется знакомым нам русским словом *подорожник*. Кстати, в русском языке до 1918 года использовались обе буквы: *и* наряду с *і*; буквы эти читались одинаково, и в конце концов оставили только одну из них. Так же поступили и создатели белорусской письменности. Но букву выбрали другую.

До сих пор мы обсуждали не столько различия между двумя языками, сколько различия в том, как в них принято записывать слова. Лингвисты называют это различиями в **орфографии**. Орфография — это всё-таки не сам язык. Если бы между русским и белорусским были только орфографические различия, то это был бы, строго говоря, один и тот же язык. Но русский и белорусский языки различаются, конечно, не только орфографией. Во-первых, легко заметить, что некоторые белорусские слова хотя и похожи на русские, но всё же произносятся чуть-чуть иначе. Слово *яблоня* по-русски произносится приблизительно как *яблАня*, а по-белорусски — *яблы́ня*; слово *весною* по-русски произносится приблизительно как *вИсною*, а по-белорусски — *вЯсною* (именно так, как написано). Есть и более сложные случаи: интересно, узнали ли вы в белорусском *пялёсткі* русское *лепестки*?

Во-вторых, некоторых белорусских слов в русском языке вовсе нет, и в этом-то случае нам как раз трудно догадаться, что они значат. Например, *ля* — это предлог со значением «возле, около, близ», а вот что такое *вёска*? Это значит «деревня», но в русском языке есть только слово *весь*, и то оно употребляется обычно только в составе выражения по *городам и всям* (не все русские теперь даже хорошо понимают, что это значит на самом деле «по городам и деревням»). Исчезло в русском языке древнее слово *весь*, а в белорусском осталось, только в своей уменьшительной форме — *вёска*. А вот для перевода слова *мурог* помощи, пожалуй, мы уже не найдем. Это слово значит «луг»; было когда-то в русском языке старинное слово *мур* «трава», от которого образовано сохранившееся в современном языке (хотя тоже редкое) слово *мурава*.

Вот полный перевод этого четверостишия:

*«Стояла яблоня возле деревни, как подорожник меж дорог;
весною падали лепестки, будто снежинки, на луг».*

Так что, как видите, похожи-то языки похожи, и даже очень, а не всё так просто для русских в белорусском языке, оказывается.

Все похожие друг на друга языки устроены приблизительно так же, как русский с белорусским: многие слова совпадают, другие слова произносятся чуть-чуть по-разному и, наконец, есть слова совсем разные, но таких не очень много. И главное, почти целиком совпадает их грамматика, а это и позволяет говорящим на похожих языках легко понимать друг друга: те же окончания у глагола в прошедшем времени, те же падежи у существительных, и так далее... Хотя и здесь бывают небольшие сюрпризы: например, мы говорим по-русски: *добр-ЫЙ*, но *молод-ОЙ*, а в белорусском языке правильными формами будут *добр-Ы* и *малад-Ы*.

2. Какие языки похожи друг на друга?

Как видим, определить, похожи два языка или непохожи, в общем, достаточно легко. Но само по себе сходство языков может иметь разные причины, и лингвисты не придают большого значения сходству языков как таковому. Гораздо интереснее понять, **почему** два языка похожи.

Здесь, как мы уже говорили, языки ведут себя совсем как люди. У людей похожими друг на друга бывают прежде всего близкие родственники. Хотя это и не обязательно: разве мало мы встречали сестер и братьев совсем разных — и по виду, и по характеру. С другой стороны, нередко бывает, что люди, которые вовсе не родня друг другу, но долго живут вместе, становятся удивительно похожими, даже больше, чем братья (не зря говорят: *с кем поведешься, от того и наберешься*).

Так же и языки. Похожие языки могут быть родственниками — чуть позже мы подробнее объясним, что это значит. Но далеко не все родственные языки похожи, и некоторые похожие языки не родственны. Языки тоже могут становиться похожими оттого, что они долго живут вместе и много слов из одного языка попадает в другой язык.

Как это бывает? Вот, например, английский язык. У него очень сложная и своеобразная история. Это сейчас по-английски говорит чуть ли не весь мир (по-английски говорят целые государства и в Америке, и в Австралии, и в Азии, и в Африке, — а в других странах, как в России, почти во всех школах школьники его хоть немного, но изучают) — а когда-то (ну, скажем, лет семьсот назад) это был язык, на котором говорили только на нескольких островах на северо-западе Европы — одном большом и нескольких поменьше; эти острова называются Британскими. Народами этих островов управляли завоеватели, сначала (не очень долго) датские, а потом (уже гораздо дольше) нормандские. Датские завоеватели говорили на древнем языке, похожем на нынешние датский или шведский, а нормандские — на другом древнем языке, похожем на нынешний французский. Он называется старофранцузским. В результате в современном английском языке оказалось очень много слов, похожих на французские слова, хотя ближайшими родственниками английского языка считаются языки нидерландский и немецкий. Давайте для примера сравним несколько очень употребительных нидерландских, немецких, английских и французских слов (так как некоторые из уважаемых читателей, может быть, не очень хорошо владеют нидерландским или старофранцузским; на всякий случай под каждым словом русскими буквами я записал его примерное произношение):

Значение	Нидерландский	Немецкий	Английский	Старо-французский	Современный французский
«орел»	Adelaar (а́делар)	Adler (а́длер)	Eagle (игл)	Aigle (а́йгле)	Aigle (эгле)
«гора»	Berg (берх)	Berg (берк)	Mountain (ма́унтин)	Montaine (монта́йне)	Montagne (монта́нь)
«цветок»	bloem (блум)	Blume (блу́мэ)	Flower (фла́уэр)	Flour (фло́ур)	fleur (флёр)
«голубь»	duif (дэйф)	Taube (та́убэ)	pigeon (пи́джин)	Pigeon (пиджо́н)	pigeon (пиджо́н)
«воздух»	lucht (лухт)	Luft (луфт)	air (э́ар)	air (айр)	air (эр)
«стул»	stoel (стул)	Stuhl (штул)	chair (чэ́ар)	Chaire (ча́йре)	chaire «престол»(шэр)
«мир»	vrede (фре́дэ)	Frieden (фри́дэн)	peace (пис)	paiz (пайц)	paix (пэ)

Не правда ли, хорошо видно, насколько подвергся английский язык французскому влиянию, отдалившись от своих немецких и нидерландских родственников? При этом заметьте, что облик английских слов ближе именно к старофранцузскому варианту, чем к современному французскому: ведь французские заимствования в английском языке очень древние. Например, в старофранцузском языке сочетание *ch* обозначало звук *ч*, а современные французы произносят его как *ш*; англичане же во французских словах по-прежнему произносят этот звук так, как его произносили далекие предки нынешних французов.

Конечно, английский язык похож и на своих близких родственников — это видно по другим английским словам, которые в нашу таблицу не попали. Вот, например, «мышь» по-нидерландски будет *muis* (мёйс), по-немецки *Maus* (маус), и по-английски тоже *mouse* (маус); а по-французски

это слово звучит совсем по-другому: *souris* (сури). Но важно, что английский язык оказался похожим и на французский — причем, конечно, похож он на него гораздо больше, чем нидерландский и немецкий языки, вместе взятые.

Бывает и наоборот — лингвисты знают, что два языка родственны, но похожие слова в них — на поверхностный взгляд — едва можно определить. Вот у французского языка тоже есть близкие родственники — например, итальянский или румынский языки. Однако попробуем сравнить наугад несколько французских слов с их румынскими и итальянскими «братьями»:

Значение	Французский	Румынский	Итальянский
«вода»	eau (о)	a' ră (апэ)	acqua (а' куа)
«коза»	chèvre (шэвр)	capră (ка' прэ)	capra (ка' пра)
«молоко»	Lait (лэ)	lapte (ла' пте)	latte (ла' ттэ)
«огонь»	feu (фё)	foc (фок)	fuoco (фуо' ко)
«орех»	noix (нуа')	nucă (ну' кэ)	noce (но' че)
«палец»	doigt (дуа')	deget (де' джет)	dito (ди' то)
«печень»	foie (фуа')	ficat (фика' т)	fegato (фега' то)
«теленочек»	veau (во)	vițel (вице' л)	vitello (витэ' лло)
«черный»	noir (нуа' р)	negru (не' гру)	nero (нэ' ро)

Сходство между румынскими и итальянскими словами очень велико (как и положено настоящим близким родственникам — точно так же обстояло дело, если вы помните, в случае русского и белорусского языков): только некоторые гласные и согласные (интересно, сможете ли вы точно сказать какие?) чуть-чуть различаются. А вот французский язык отличается очень сильно. Если не знать, что он родственник итальянского с румынским (а откуда лингвисты это знают — мы расскажем в следующей главе), то такие пары, как *о* — *аква* или *во* — *вицел*, едва ли наведут на такую мысль. Посмотрите, как французские слова почти всегда оказываются короче румынских и особенно итальянских и как сильно меняются в них звуки.

Что же мы выяснили? Языки бывают похожими и непохожими; в похожих языках большинство слов или совсем одинаковые, или чуть-чуть отличаются в произношении; похожа у таких языков и грамматика. Если языки очень похожи, они скорее всего родственные, но это не обязательно: бывают непохожие друг на друга родственники, бывают неродственные, но похожие друг на друга языки.

Через некоторое время мы попробуем выяснить, что же такое родственные языки и почему одни родственные языки больше похожи друг на друга, а другие — меньше. Но вначале нам понадобится узнать о некоторых важных свойствах всех языков вообще.

3. Язык и время

Я надеюсь, вы уже привыкли к тому, что в языке много загадочного. Поэтому вы не удивитесь, если я скажу, что родство языков тоже связано с одной очень загадочной особенностью, которая присуща всем известным на земле языкам. Любому языку.

Эта особенность состоит в том, что язык постоянно изменяется. Проходит немного времени («немного» для языка — это лет сто или двести) — и язык уже не совсем тот, что был. Проходит еще немного времени — и язык меняется еще больше. И вот уже, если мы сравним то, что было, скажем, восемьсот лет назад, с тем, что есть сейчас, — мы просто не поверим, что возможно столько превращений. Предок и потомок — два совершенно разных языка.

И так происходит всегда и везде, с любым языком, каким бы он ни был и кто бы на нем ни говорил. Ну, может быть, одни языки будут меняться чуть медленнее, чем другие, вот и всё. Но постепенных превращений не избегает ни один язык. Это неумолимый закон.

Опять-таки лингвисты пока не очень хорошо понимают, почему так происходит. Но мы твердо знаем, что это происходит обязательно.

А что значит, что язык изменяется? Давайте посмотрим внимательнее на то, что было написано на русском языке чуть больше ста пятидесяти лет назад (мы несколько не сомневаемся в том, что это еще — или уже — был современный русский язык). Вот, например, несколько отрывков из хорошо знакомых вам сказок Пушкина:

Там лес и дол видений полны,
Там о заре прихлынут волны
На брег песчаный и пустой...
В чешуе, как жар горя,
Идут витязи четами,
И, блистая сединами,
Дядька впереди идет
И ко граду их ведет.
...А у князя женка есть,
Что не можно глаз отвести...
...Князь Гвидон тот город правит,
Вся к его усердно славит;
Он прислал тебе поклон,
Да тебе пеняет он:
К нам-де в гости обещался,
А доселе не собрался...
...Та призналася во всем:
Так и так. Царица злая,
Ей рогаткой угрожая,
Положила иль не жить,
Иль царевну погубить.

Попробуйте сами определить, что вам кажется в этих строчках непохожим на тот язык, на котором мы с вами говорим сегодня.

Изменения, которые произошли в русском языке с тех пор — за неполных двести лет, — в общем, небольшие. Но если посмотреть на них внимательно, то окажется, что они очень типичны: такие или примерно такие изменения происходят и во всех других языках. Есть несколько разных типов изменений языка.

4. Об изменениях в языке: изменения значений слов

Самый очевидный и самый частый тип изменений связан с тем, что слова в языке перестают иметь свое прежнее значение. После этого со словом могут происходить две вещи: либо оно продолжает употребляться — но в другом, новом значении (отличающемся от старого или незначительно, или порой даже очень сильно), либо это слово исчезает из языка вовсе. В приведенных строчках Пушкина мы встречаем, например, слово *рогатка*, которое означает кандалы особого рода (надевавшиеся на шею), — в современном языке ни сам этот предмет (к счастью), ни слово *рогатка* в таком значении не известны. Однако неверно думать, что слова изменяют свое значение (или исчезают) только потому, что изменяются (или исчезают) вещи, для обозначения которых они служат. Конечно, такие случаи бывают, но их ничтожно мало по сравнению с основной массой изменений. Глагол *положить* у Пушкина значит «решить, поставить целью»; в современном языке он в этом значении не употребляется (хотя мы говорим и *полагать*, и *предположить*, и даже *положим* в значении «допустим») — это, конечно же, не свидетельствует о том, что люди стали думать и принимать решения как-то иначе, чем раньше. Пушкин нередко использует вместо современных слов *лоб*, *пальцы* и *щеки* старинные *чело*, *персты* и *ланиты*, а ведь эти «объекты» — части тела человека — остаются неизменными с незапамятных времен. Так что дело здесь отнюдь не в том, что какая-то вещь вдруг исчезает или появляются новые вещи, которые люди не знают, как назвать. Дело в том, что **срок жизни любого слова в любом языке ограничен** — рано или поздно слову придется исчезнуть, уступив свое место другому (которое в принципе ничуть не лучше и не хуже своего предшественника). Бывает так, что это новое слово берется из другого языка — обычно это язык соседнего народа или просто широко распространенный (в ту эпоху) язык; такие слова называют *заимствованиями*.

Заимствования. Про некоторые слова мы сами еще понимаем, что они «чужие»: они, так сказать, пока живут в языке как гости, полуиностранцы. В основном это слова, которые вошли в язык недавно. Всякий скажет, что *эксперимент* или *компаньон* — слова не русские; это действительно так. А знаете ли вы, что когда-то были русским языком заимствованы такие слова, как *блюдо*, *буква*, *изба*, *осел*, *хлев* (из древнегерманского), *грамота*, *свекла*, *тетрадь* (из греческого), *алый*,

башмак, богатырь, колчан, лошадь (из тюркских языков)? Во всяком языке заимствований очень много: языки, живущие по соседству друг с другом, легко проникают друг в друга и, так сказать, обмениваются своими словами. О французских заимствованиях в английском языке нам уже приходилось говорить; но в современном французском языке (как и во многих других, в том числе и в русском) теперь немало английских заимствований.

Любопытна, например, история слова *шапка*. Несколько сот лет назад оно было заимствовано русским языком (через польский и немецкий языки) из французского (старая форма *chape*, современное французское *chapeau*) в значении «головной убор европейского образца». Однако позднее французский язык сам заимствовал это слово из русского: теперь наряду со словом *chapeau* в современном французском языке есть и слово *chapka*, которое обозначает... теплый головной убор на меху «русского образца»! Этот случай не такой редкий, как может показаться: есть довольно много примеров того, как языки «обмениваются» одним и тем же словом поочередно.

А почему слова в языке не живут вечно? Каков «срок жизни» слова? У всех ли слов он одинаков? Это очень интересные вопросы, но, к сожалению, у лингвистов пока нет на них ясного ответа. Можно с уверенностью сказать одно: у разных слов срок жизни разный. В каждом языке есть своя группа «слов-долгожителей», и в очень многих языках (хотя, быть может, и не во всех) долгожителями оказываются близкие по смыслу слова — такие, например, *капотец, мать, вода, камень, сердце, кровь, весь, белый, идти, пить, два, три* и некоторые другие. Удалось, например, заметить, что слово *один* живет в языках меньше, чем слово *два*, а слово *хороший* — меньше, чем слово *новый*. Около пятидесяти лет назад американский лингвист **Морис Свadesh**, опираясь на такие наблюдения своих предшественников, обследовал много разных языков и составил список ста самых «устойчивых» слов. Этот список часто так и называется — «список Свадеша» (или еще «стословный список»). Слова этого списка исчезают из языка очень медленно: например, считается, что за тысячу лет в среднем должно исчезать всего около пятнадцати слов из ста.

Слова-долгожители очень важны для лингвистов: именно на эти слова лингвисты смотрят в первую очередь, когда хотят понять, являются ли языки родственными и насколько тесно их родство.

Изменения значений, появление и исчезновение слов — очень важные изменения в языке. От того, все ли слова в языке нам понятны, прямо зависит то, хорошо ли мы поймем сказанное (вспомните-ка, из-за чего вам труднее всего было расшифровать белорусский текст в самом начале этой главы). Но эти изменения — далеко не единственные, которые бывают в языках.

Языковая картина мира

6 фактов о внутренней структуре языка, логике выбора слов и конвенциях

**Ирина Борисовна ЛЕВОНТИНА, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник
Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН**

Языковая картина мира – это отраженный в языке способ видения мира. Или по-другому можно сказать, что это концептуализация действительности. Это понятие восходит, с одной стороны, к учению Вильгельма фон Гумбольдта, а с другой стороны, к так называемой гипотезе лингвистической относительности Сепира – Уорфа. Сейчас исследования языковой картины мира очень популярны. И это, в частности, связано с работами австралийского лингвиста польского происхождения Анны Вежбицкой, которая написала прекрасные исследования о языковой картине мира в разных языках: английском, русском, аборигенских языках Австралии, немецком языке и так далее — и сделала массу очень тонких и ценных наблюдений.

1. О внутренней структуре языка

Любой естественный язык определенным образом представляет мир. Если изучать значение языковых выражений, можно заметить, что в языке представлены, так сказать, «наивная» геометрия, «наивная» физика, даже «наивная» психология – что угодно. Скажем, в русском языке есть слова «узкий», «широкий», «тонкий», «мелкий», «глубокий», «высокий» и так далее. Если посмотреть, как они употребляются, то это довольно сложно и трудно описать. Но употребление подобных слов подчиняется определенной закономерности. И вот из этих употреблений можно выстроить своего рода «наивную» геометрию, которая, естественно, будет очень сильно отличаться от геометрии в школьном представлении или от научной геометрии. Это совершенно особая вещь. Причем тут важно не употребление таких выражений, как, скажем, «глубокая» и «мелкая тарелка», устойчивых и закрепленных в языке сочетаний. Есть очень простые вопросы: какой предмет мы назовем толстым, а какой широким? Какой узкий, а какой тонкий? Если высокий предмет положить, он станет длинным? И так далее.

2. О логике выбора предлогов в русском

В языке есть определенная картина причинности (как устроены причинно-следственные связи в жизни). Человек хочет сказать, что он кого-то пожалел, и это явилось причиной какого-то другого события. Какой предлог здесь надо употребить? Скажет ли он «от жалости» или «из жалости»? Или, может быть, «из-за жалости»? Для того чтобы выбрать предлог, человеку надо проанализировать ситуацию, потому что если речь идет о каком-то неконтролируемом состоянии, спонтанном, то человек скажет, например, «от жалости заплакал». Если же человек совершил какой-то поступок и мотивом этого поступка было чувство жалости, тогда надо употребить предлог «из». Скажем, он из жалости разрешил человеку не ходить на работу столько-то дней. Вот из жалости он это сделал. Но это только один аспект. Например, «из жалости» можно сказать, только если речь идет о непосредственной причине. Представим себе ситуацию: человек кого-то пожалел, тот завалил всю работу, и из-за этого человек провалил какой-то большой проект. Он провалил свой проект «из-за жалости». Здесь нельзя сказать, что он «из жалости» провалил свой проект, потому что это не было мотивом его поступка, речь идет об опосредованной причине этого события. Он пожалел, из-за этого что-то произошло, одно явление было опосредованной

причиной другого. Надо употребить предлог «из-за». Но мы не учли еще один аспект: если что-то произошло хорошее, то мы сказать «из-за» уже не можем. Тогда мы должны употребить предлог «благодаря». То есть мы видим, сколько человек должен учесть факторов, аспектов для того, чтобы, оценив ситуацию, просто выбрать предлог. А это мы еще не говорим о том, выбрать ли ему слово «жалость», слово «сочувствие», слово «сострадание» или слово «участие». Таким образом, просто буквально при выборе предлога человек обращается к целой совокупности представлений о причинности, а при выборе следующего слова – к имеющейся в русском языке совокупности представлений об этом типе эмоций.

3. О системе описания

Эти же признаки работают и в других словах, связанных с причинностью в русском языке, например в союзах типа «потому что» или глаголах «вызывать», «приводить» и так далее. Мы видим, что тут сложная разветвленная система представлений, и она не совпадает, скажем, с научным понятием причинности, причинно-следственной связи. Русский язык выбирает в качестве ключевых некоторые признаки ситуации, которые необходимо учесть просто для того, чтобы выбрать нужное слово. Это и есть то, что мы понимаем под языковой картиной мира. В так называемой Московской семантической школе идея картины мира положена в основу принципа системности описания. Мы стараемся описывать слова системно, так, чтобы не просто замечать какие-то их случайные свойства, а чтобы реконструировать тот фрагмент языковой картины мира, который стоит за этими употреблениями. Человек так привыкает к той картине, которая дается ему вместе с его родным языком, что ему кажется: так устроена жизнь вообще. И он очень удивляется, когда узнает, что в других языках могут быть какие-то иные представления о данном фрагменте мира. Может быть, эти представления организованы совершенно иначе, начиная с самых простых и известных вещей, скажем, что по-русски различаются цвета синий и голубой, а по-английски они не различаются. Или, скажем, по-русски все пальцы на руках и на ногах – это все равно пальцы, а в английском это устроено совсем иначе.

4. О выборе глагола в русском языке

Человек получает представление о жизни через язык. Я приведу очень простой пример: очень часто человек должен выразить какой-то обязательный смысл. Точно так же, как по-русски нельзя употребить слово в никаком падеже. У нас есть категория падежа, и будь любезен, пожалуйста, определи все-таки, какой у тебя должен быть падеж: дательный или винительный. Точно так же и в области смысла: очень часто бывает, что человек обязан выразить какой-то смысл. Пока он не решил, какой у него в этом месте смысл, он не может это сказать. Рассмотрим простейший случай. В русском языке есть глагол «дарить». Казалось бы, совершенно простой, ничего в нем такого особенно непереводаемого нет, это понятно, что такой глагол есть и в других языках. Однако представим себе ситуацию. Что такое собственно «подарить»? Это дать кому-то бесплатно навсегда, желая выразить хорошее отношение, ну и так далее. Вот человек что-то кому-то передает. Как мы должны это назвать? По-английски нам проще, мы можем употребить глагол «give». По-русски не можем так поступить. Мы должны разобраться: человек дает это бесплатно навсегда с каким чувством? Для того чтобы выразить свое хорошее отношение или порадовать, или поздравить? Тогда надо сказать «дарить». Или он отдает потому, что ему не нужно? Тогда надо сказать «отдать». Или он дает, может быть, на время? Тогда надо сказать «дать», а употребить глагол «подарить» нельзя. Или он, может быть, дает, скажем, крестильный крестик с символическими какими-то целями. Тогда опять нельзя сказать «подарить», а надо сказать «дать». И пока мы эту ситуацию не проанализировали, мы глагол выбрать не можем. В английском языке есть глагол с более общим значением – «give», который, казалось бы, очень похож на русский «дать», но оказывается, что в этом месте фрагмент картины мира устроен по-другому. Мы не можем здесь, не выразив этот смысл, пойти дальше. Замечу попутно, что для русского языка вообще характерно внимание к мотивам. Мы очень часто не можем обозначить действие каким-то образом, пока мы не определили, для чего человек его совершает.

5. О конвенциях в языке

Самое важное в языковой картине мира – это не то, что в ней декларируется, а то, что как бы находится в подтексте и принимается всеми носителями языка как нечто само собой разумеющееся, в чем им даже не приходит в голову усомниться. Я очень люблю пример, который

обычно приводит мой коллега и соавтор по многим работам Алексей Шмелев. Он говорит о том, что из пословицы «Любовь зла – полюбишь и козла» абсолютно нельзя сделать вывод о том, какие представления о любви в данной культуре. Потому что это то, что декларируется в этой фразе. Декларироваться может все, что угодно, люди вообще лживы, и язык тоже. Зато совершенно точно можно сказать, что в данной культуре козел – это несимпатичное животное, что носитель русского языка и русской культуры представляет себе козла, как животное совершенно несимпатичное. Это совершенно неочевидно в других языковых культурах, это может быть иначе, и у разных животных абсолютно разные коннотации.

6. О трудностях в исследовании

Говоря о языковой картине мира, очень важно иметь в виду следующее. К сожалению, эта тема сейчас часто эксплуатируется, и делаются весьма безответственные заявления, когда, скажем, из какой-то одной пословицы, одного словоупотребления делаются далеко идущие выводы. Например, я сама слышала доклад, кстати, американского человека, в котором он выводил трагедию 11-го сентября непосредственно из структуры арабского языка, что, конечно, совершенно невозможно и недопустимо. Тем не менее то, что мы сейчас уже знаем про значение языковых выражений, про их функционирование, убеждает нас в том, что, действительно, языковая картина мира – это реальность. Мы не очень много знаем пока о ней, мы исследовали разные ее фрагменты в русском языке, мы узнали, что существуют разные варианты, что она менялась со временем и меняется очень активно сейчас, что в разных социальных слоях немного есть разные варианты, модификации картины мира, кое-какие различия разных картин мира нам удалось обнаружить, но тем не менее, конечно, исследования в этом направлении еще только начаты.

Зализняк А.А., Левонтина И.Б., Шмелев А.Д. Константы и переменные русской языковой картины мира. 2012. 696 с.
Русская языковая картина мира и системная лексикография / В. Ю. Апресян, Ю. Д. Апресян, Е. Э. Бабаева, О. Ю. Богуславская, Б. Л. Иомдин, Т. В. Крылова, И. Б. Левонтина, А. В. Санников, Е. В. Урысон; Отв. ред Ю. Д. Апресян. — М.: Языки славянских культур, 2006 . 912 с.
A. Wierzbicka. Semantics, Culture, and Cognition: Universal Human Concepts in Culture-Specific Configurations. Oxford: Oxford University Press. 1992

Этнические стереотипы в русских анекдотах

Алексей Шмелев, Елена Шмелева

Среди представлений о мире, характерных для той или иной культуры, важное место занимают представления о своем и о других народах — так называемые этнические стереотипы. Существуют различные методы выявления этнических стереотипов, например непосредственный опрос информантов или исследование бытующих в культуре эксплицитных суждений о свойствах того или иного народа. Однако ориентация на эксплицитные суждения носителей культуры может вводить в заблуждение, поскольку значительное число стереотипов не вполне осознаются их носителями и потому не эксплицируются, и, напротив, в наличии каких-то стереотипов их носитель может не желать признаваться. Поэтому в качестве вспомогательного приема выявления этнических стереотипов могут использоваться методы, нацеленные на выявление имплицитных стереотипов, стоящих за высказываниями носителей исследуемой культуры. Высказывание персонажа Сергея Довлатова «все думали — еврей, а оказался пьющим человеком» более надежно свидетельствует о наличии стереотипа «евреи обычно не склонны к пьянству», нежели эксплицитное утверждение «евреи мало пьют». В качестве косвенных методов выявления этнических стереотипов можно упомянуть анализ сочетаемости прилагательных, обозначающих национальную принадлежность^[1]: если сочетание такого прилагательного и существительного, обозначающего некое человеческое качество, является лингвистически отмеченным (т. е. регулярно встречается в речевой практике носителей языка), то данное качество соответствует этническому стереотипу (который является фоном для интерпретации всего сочетания). При помощи этого теста для русской культуры удастся установить составляющие этнического стереотипа

немца

(организованность,

размеренность, серьезность, основательность, аккуратность, тщательность, дотошность, добротность, честность, бережливость, экономность, хозяйственность, деловитость, практичность, а также педантичность, рассудочность, расчетливость, ограниченность) и француза (тонкость, утонченность, грациозность, изящество, изысканность, любезность, галантность, а также жеманность, кокетливость, легковесность, ветреность). Более бедны стереотипные представления об американцах (деловитость) и англичанах (чопорность). Интересен также набор существительных, которые выявляет этот тест для авто стереотипа русских (стереотипного представления о самих себе): удаль, широта, прямота; сметка, смекалка; гостеприимство (хлебосольство), (за)душевность, щедрость; беспечность, бесхозяйственность, расхлябанность, лень, барство; хамство, свинство, дикость, варварство.

Другим методом выявления фоновых этнических стереотипов может служить изучение коротких забавных историй, персонажами которых являются представители различных народов. Жанр рассказов об этнических меньшинствах или о народах-соседях существует в фольклоре самых разных народов. Французы и голландцы рассказывают анекдоты о бельгийцах, испанцы — о португальцах, шведы — о норвежцах, а финны — о шведах. Это вполне естественно. Ведь представления о «человеке вообще» люди, как правило, формируют на основе наблюдений над собственным этносом, отличительные особенности которого, таким образом, принимаются за норму. Соответственно черты, свойственные иным этносам, воспринимаются как отклонение от стандарта. Поскольку стереотипы поведения разных народов обычно не совпадают, специфические черты поведения, свойственные иным этносам (как правило, представленные в преувеличенном виде), часто воспринимаются как смешные, глупые, не соответствующие

собственной, «правильной» норме поведения. Тем более смешными кажутся нарушения носителями других языков речевых стереотипов родного языка рассказчика. Это касается как нарушения собственно языковых норм (акцент, несвойственные языку рассказчика синтаксические конструкции), так и пристрастия к речевым стратегиям, не характерным для языка рассказчика.

Среди русских анекдотов, базирующихся на этнических стереотипах, можно выделить две разновидности: собственно этнические анекдоты и «многонациональные» анекдоты.

В каждом из собственно этнических анекдотов действуют представители какого-то одного народа; связанные с этим народом этнические стереотипы являются необходимой предпосылкой комического эффекта. Большинство собственно этнических анекдотов представляют собой «рассказы об инородцах», то есть краткие комические истории о представителях того или иного этнического меньшинства. Персонажи собственно этнических анекдотов обычно характеризуются особой «речевой маской», сюда относятся интонация, склонность к использованию определенных частиц, этикетных формул, диалогические стратегии. Часто использование той или иной единицы соотносится с какими-то чертами характера, приписываемыми в анекдотах соответствующему этническому и языковому меньшинству[2].

В «многонациональных» анекдотах, как правило, фигурируют иностранцы; при этом одним из персонажей «многонационального» анекдота обычно оказывается представитель народа, к которому принадлежит рассказчик (т. е. в русских анекдотах *русский*). Речевые характеристики иностранцев в анекдотах, как правило, минимальны, чаще всего они говорят на русском языке, лишенном специфических характеристик.

Собственно этнические анекдоты

Распространенность анекдотов об инородцах в русской среде обусловлена тем, что в России с ее огромной территорией и многонациональным населением русские издавна сталкивались с различными типами «неправильного» с русской точки зрения поведения и «неправильной» русской речью. Любопытен уже сам выбор героев анекдотов об инородцах. Выбор персонажей русских анекдотов об этнических меньшинствах весьма ограничен. Из множества народов, населявших территорию Российской империи, а затем — Советского Союза, лишь о единицах рассказывались анекдоты. При этом выбор героев для анекдотов изменился с течением времени. В начале XX века героями анекдотов часто были цыгане или армяне. В современном фольклоре (1970—1990-х гг.) анекдотов про цыган почти нет, анекдоты про армян тоже редкость (а популярная в 1960-е серия анекдотов об армянском радио по жанру не принадлежит к разряду анекдотов об инородцах). Наиболее частые герои советских анекдотов об этнических меньшинствах в современном фольклоре — это грузины, чукчи, украинцы и евреи (отметим, что анекдоты о малороссах и еврейские анекдоты имеют давнюю историю, а анекдоты о грузинах и тем более о чукчах стали активно рассказываться в советское время). В 1990-е годы получили распространение анекдоты об эстонцах (в советское время такие анекдоты были единичными, как, например, известный анекдот о *горячих эстонских илифинских парнях*) [3].



Грузины: установка на контакт и взаимопонимание

Каждому из типичных персонажей анекдотов про инородцев свойственны особые характерные черты. Например, как мы можем описать *грузина* — героя русских анекдотов советского времени? Это человек заметный, шумный, пестро, часто безвкусно, но всегда «богато» одетый. Больше всего на свете *грузин* озабочен тем, чтобы другие не подумали, что у него чего-то нет, он очень любит прихвастнуть, показать свое реальное или мнимое богатство. *Грузины* в русских анекдотах — люди гостеприимные, любящие компанию, застолье, тосты; щедрые, иногда даже

слишком щедры; они преувеличенно мужественны, но при этом отношение к женщине у них «восточное» — как к низшему существу (напомним известную фразу из анекдота о том, как *грузин* расточал многочисленные комплименты некоей даме, беседуя с ее спутником, однако когда она попыталась принять участие в разговоре, ей было сказано: *Молчи, женщина, когда джигиты разговаривают*). Среди анекдотических грузин много долгожителей, хотя они любят выпить, вкусно поесть и поухаживать за женщинами (исключения встречаются редко). -

Например:

Корреспондент берет интервью у пожилого грузина: «Скажите, в чем секрет вашего долголетия?» — «Я не пил, не курил и всю жизнь избегал женщин». Тут раздаётся какой-то шум. Корреспондент спрашивает: «Что это?» — «А, это мой старший брат вернулся, пьяный, как всегда, и с какими-то девками».

Поскольку мы в основном рассматриваем анекдоты, появившиеся в советское время, одной из обязательных тем анекдотов о любом народе является тема взаимоотношений героев анекдотов и советской власти. Конечно, представители всех народов в русских анекдотах советскую власть не любят, она мешает всем, но всем по-разному. Так, грузинам советская власть мешает наслаждаться жизнью (вспомним анекдот про то, как *грузина* принимают в партию и говорят, что теперь он не должен пить вино, зарабатывать слишком много денег, ухаживать за женщинами. Он вынужден согласиться, но затем на вопрос, *готов ли он отдать жизнь за идеалы коммунизма*, отвечает: *Конечно, готов, зачем мне такая жизнь?!*).

Недостаточное владение русским языком усиливает некоторые черты характера анекдотического *грузина*:

«Гиви, ты свою жену утром будишь?» — «Конечно, буду».

Для имитации русской речи грузин в анекдотах помимо попытки имитировать грузинский акцент используются особые прагматические маркеры. Независимо от того, в какой степени они характерны для реальной русской речи грузин, их рассмотрение позволяет добавить некоторые штрихи к нарисованной картине.

Русская вопросительная частица *да?* в конце высказывания может иметь различные смыслы — в зависимости от интонации и типа дискурса. В составе рассуждения *да?* может указывать на стремление говорящего проверить, понимают ли его слушающие («преподавательское» *да?*) или согласны ли они с проводимым рассуждением. Если же обсуждаются планы на будущее, *да?* выражает неуверенную надежду на то, что собеседник согласится со сделанным предложением. Именно этому последнему типу *да?* близко использование *да?* в качестве речевой характеристики грузина в анекдотах, когда оно может сопровождать императив (употребление, противоречащее русской литературной норме): *Позвони, да? Выпей, да?* Несколько иную функцию несет *да?* в таких конструкциях, как *Обидно, да?*, когда оно выражает сочувствие или, наоборот, просьбу о сочувствии. Можно заметить, что во всех случаях использование *да?* в анекдоте выражает установку грузина на контакт и взаимопонимание с собеседником.

Эта же установка подчеркивается и тем, что грузины в анекдотах всегда используют обращение на *ты* — даже в разговоре с незнакомым человеком. Обращение на *вы* является слишком формальным и разрушало бы стереотипный образ грузина. Грузинам в анекдотах свойственно употребление побудительных предложений и риторических вопросов; обычные сообщения в форме повествовательных предложений встречаются относительно редко. Просто сухая передача информации не столь существенна для грузина, как установление и поддержание контакта с собеседником. Обратиться с просьбой, дать совет, пригласить вместе подумать над каким-либо вопросом для грузина в анекдотах значительно важнее, нежели просто сообщить что-то. Не случайно и широкое использование обращений в речи грузина — героя анекдотов. Приведем пример анекдота, в котором на фоне не вполне совершенного владения русским языком (и полного непонимания особенностей украинского языка) ярко проявляется характер анекдотического грузина:

Накануне Пасхи в Великий пост едут в купе одного поезда грузин и украинка. Грузин достаёт хачапури, шашлык и множество всяких вкусных вещей, начинает есть. А украинка тихонько сидит и ничего не ест. Постится. Грузин ей предлагает: «Вах, дарагой, угощайся!» Она: «Щиро дякую, та я не можу зараз. Во мне Великий пист!» Грузин: «Эээ, великий пизд, маленький пизд — кушать-то надо!».



Совсем иной характер у других постоянных героев анекдотов 1970—1980-х годов — у чукчей. *Чукча* — это природный, естественный человек Руссо, попавший в чуждую для него городскую технократическую цивилизацию. *Чукча* кажется очень глупым лишь потому, что он в городе продолжает жить по законам тайги (охотится на старушку или на дельтаплан, не умеет пользоваться телефоном и т. п.), а по-своему *чукча* хитер и умен. Особенно ярко это проявляется в анекдотах о том, как *чукча* воспринимает действительно бредовые советские лозунги и реалии — напомним анекдот о том, что все у нас в стране делается *во благо человека*, и *чукча* знает *этого человека*, или о том, как *чукча* отстоял очередь в магазин, а *продавец умер* (анекдот про Мавзолей Ленина); ср. также анекдот, в котором фигурирует типичное для советской городской топонимики, хотя и достаточно абсурдное название улицы — улица Восьмого Марта:

Едет *чукча* в трамвае. Водитель: «Следующая остановка «Восьмого Марта»»... *Чукча*: «Ой, а раньше никак нельзя!?».

Стандартной речевой характеристикой *чукчи* в анекдотах является слово *однако*. Его функции в языке состоят в том, чтобы указывать на несоответствие тому, что можно было бы ожидать. Такое употребление *однако* соответствует общему внутреннему состоянию *чукчи* в анекдотах — пассивному изумлению перед окружающим миром и недоумению человека, столкнувшегося с непривычной для него цивилизацией. Этой же цели служит и свойственное *чукче* в анекдотах обозначение себя в третьем лице: он как бы глядит на себя со стороны, удивляясь своему месту в приоткрывающемся ему мире.

Чукчи в анекдотах, как и грузины, чаще всего обращаются к собеседнику на *ты*, однако для них функция такого способа обращения несколько иная: это как бы речь ребенка или человека, почти не затронутого цивилизацией и условностями этикета.

Словарный запас *чукчи* в анекдотах беден, он ограничивается словарем-минимумом, состоящим из самых простых и употребительных слов; при этом он чаще всего употребляет слова и формы, уместные скорее в разговорах с детьми. Выход за пределы такого словарного запаса воспринимается как маркированный и создает добавочный комический эффект, как в высказывании *Тенденция, однако*, заимствованного из анекдота и ставшего «крылатым словом» в современной русской речи.

Похожий эффект имеет место в тех случаях, когда собеседники пытаются приноровиться к понятиям и словарному запасу *чукчи*, но выясняется, что его система представлений и словарный запас мало чем отличаются от представлений и лексикона его собеседников:

Испытывают новую баллистическую ракету СС-50. А у нее блок наведения отказал, и улетела она куда-то в тундру. Послали за ней поисковую группу. Идут они по тундре, а навстречу *чукча*. Те у него спрашивают: «Скажи, *чукча*, тут пять дней назад летела большая огненная палка. Ты ее не видел?» — «Нет, — говорит, — однако не видел. Самолета — летела, вертолета — летела, СС-50 — летела, а большая огненная палка — не летела».

Евреи как герои русских анекдотов

Прежде чем переходить к анализу «еврейского анекдота», необходимо сделать одну оговорку. Грузины и *чукчи* в анекдотах на русском языке всегда функционируют именно как персонажи русского анекдота. В то же время анекдоты о евреях нередко представляют собой возникшие в еврейской среде анекдоты, которые могут рассказываться на русском языке, а могут и на любом другом [4]. Можно считать, что в таких анекдотах мы имеем дело не с образом *еврея* в русском анекдоте, а с образным строем еврейского анекдота (который был рассказан на русском языке).

Впрочем, под русским анекдотом о евреях можно понимать любой анекдот с персонажами-евреями, имеющий достаточно широкое хождение в русской среде. Независимо от генезиса таких анекдотов, с синхронной точки зрения анекдот, родившийся в еврейском местечке начала века, но активно рассказывавшийся в современном ему русском городском обществе, отражает те же бытовавшие в этом обществе стереотипы, что и анекдот о евреях, который и возник, и рассказывается в русской городской среде.

Евреи в анекдотах характеризуются свойствами, в корне отличными от грузин и *чукчей*, и это подчеркивается их речевыми характеристиками. Они следуют особому «речевому этикету»,

придающему их речи специфический «национальный колорит»: отвечают вопросом на вопрос, ценят выражение сочувствия выше, чем комплименты собеседнику, сами, отвечая на комплимент, начинают возражать собеседнику, при упоминании любого лица считают необходимым дать ему оценку, обычно в форме пожелания. Характерна также манера начинать вопрос с союза *и*:

«Вы выходите на следующей остановке?» — «Да». — «А женщина перед вами выходит?» — «Да-да». — «А вы ее спрашивали?» — «Да, конечно». — «И что она ответила?»

Недоверие к полученному ответу, желание его перепроверить не случайно и хорошо укладывается в общую систему речевых стратегий, используемых евреями в анекдотах.

Для *еврея* как героя анекдота характерно использование не прямых способов выражения, особенно когда речь идет о деликатных материях:

«Сарочка, ты помнишь Изю, что жил напротив тюрьмы?» — «Да, а что?» — «Так он теперь живет напротив своего дома».

«Рабинович, вы когда-нибудь секс втроем пробовали?» — «Нет, а что?» — «А попробовать хотите? Тогда — бегом домой, может, еще успеете!»



Очень часто речевые особенности подчеркивают различные черты образа *еврея* в анекдоте. Так, для *еврея* как героя анекдота характерна частица *таки*, служащая показателем установки, во многом противоположной установке, лежащей в основе использования *однако*: она указывает на соответствие тому, что ожидалось, на то, что сомнения были напрасными. Использование *таки* хорошо отвечает установке человека, все знающего наперед и любящего (иногда с некоторым занудством) подчеркнуть, что его предвидения оправдались, несмотря на возможные сомнения.

Если грузины и чукчи в анекдотах обращаются к незнакомому собеседнику на *ты*, то евреи используют более формальное обращение на *вы*. Это, разумеется, не случайно. Евреям в анекдотах несвойственна ни панибратская манера грузин, ни первобытная незатронутость цивилизацией, свойственная чукчам. Однако, как и грузинам, евреям в анекдотах свойственна установка на контакт с собеседником, что подчеркивается постоянной апелляцией к слушателю (...*вы думаете, что...*), однако ценен для еврея не контакт сам по себе, а возникающая при этом «задушевность»: контакт ценится, поскольку дает возможность выразить сочувствие и самому оказаться объектом сочувствия. Поэтому *еврей* в анекдоте может не только осуществлять референцию к самому себе при помощи местоимения первого лица, но и, как чукча, называть себя в третьем лице — *бедный еврей*. Однако понятно, что функция такого самообозначения совсем иная, нежели в случае с чукчами. Если *чукчасам* удивленно глядит на себя со стороны, то *еврей* приглашает собеседника или домысливаемого наблюдателя посмотреть на него и «посочувствовать».

Еврей в русском анекдоте — хороший семьянин, для него очень важна его жена, дети и вообще все многочисленные родственники (отдельное место занимают анекдоты про *еврейскую маму* и ее отношения с сыном). Приверженность семейным связям подчеркивается средствами, при помощи которых *еврей* осуществляет референцию к своим родственникам, в частности к жене, которую он называет *моя Сарочка*. Такое обозначение оказывается информативным и в то же время достаточно интимным, чтобы выразить теплые чувства по отношению к супруге.

Некоторые характеристики евреев в русских анекдотах мало изменились за более чем столетнюю историю существования этой серии. Евреи — умные, хитрые, жадные. Часто богатые, но они (в отличие от других персонажей русских анекдотов про богачей: *загулявших купцов, грузин и новых русских*) не демонстрируют свое богатство, а стараются скрыть его. Имеют большие способности к бизнесу (часто нечестному). Евреи за свою долгую, полную гонений историю научились приспосабливаться ко всему, поэтому евреи могут приспособиться и к

советской власти и даже обмануть ее представителей (милицию, таможенников и др.). Евреи — физически слабые, хотя благодаря своей хитрости иногда побеждают более сильного противника. Доминирующая черта евреев во многих анекдотах — осторожность, подчас граничащая с трусостью: в политике, в бизнесе (поэтому евреи и не афишируют своего богатства) и просто в жизни. Впрочем, здесь следует отметить, что после Шестидневной войны эта характеристика была несколько скорректирована. В русском фольклоре появилось много анекдотов о победоносных израильских солдатах. В этих анекдотах израильские солдаты побеждают не числом, а умением, хотя в большинстве из них все же не столько силою и храбростью, сколько хитростью. Способность немногочисленных израильских солдат побеждать во много раз превосходящие силы противника просто поражает воображение, как в следующем анекдоте: Президент Джонсон обратился к Израилю за помощью во вьетнамской войне. Израильское правительство приняло решение послать на помощь пять солдат. «Вы бы хоть десять послали», — говорит Джонсон. «Вы что, с Китаем воевать собираетесь?» — удивляются израильтяне^[5].

Эстонцы: сверхъестественная медлительность

Распространенные представления о чрезвычайной медлительности эстонцев, по-видимому, связаны с большой длительностью пауз, посредством которых носители данной культурной традиции дают собеседнику возможность продолжить свой монолог, подумать над тем, что сказал собеседник, вставить свою реплику. Длительные паузы накладываются на тот факт, что в эстонском языке распространены долгие звуки (не только гласные, но и согласные), так что речь воспринимается как медленная — а это может свидетельствовать о медлительности участника коммуникации. Именно замедленный темп речи, длительные паузы, использование долгих гласных и согласных, интонационная размеренность — главные составляющие речевой маски *эстонца* в анекдоте. Таким образом рассказчик пытается имитировать эстонский акцент, и хотя по большей части это получается не очень успешно с точки зрения соответствия реальной русской речи эстонцев, однако оказывается достаточным для того, чтобы речевая маска была легко узнаваемой. Характер *эстонца* как героя анекдота вполне соответствует этой маске. Главное свойство *эстонцев* в русских анекдотах — медлительность. Они очень рассудительны, но замкнуты, не способны к бурным проявлениям страсти, медленно соображают, медленно и мало говорят и замедленно реагируют на сообщения.

Горячий эстонский парень лежит в постели с молодой женой. «Тарагоой, почему ты все время моолчишь? Скашии хоть чтоо-ниппуть!» — «Что же теппе сказаатть?» — «Ну, скашии, что люппишь мення». — «Я люпплю теппя». — «Скашии, что хоочешь мення». — «Я хочуу теппя». — «Почемуу ты все говоришь потт мою диктооовку? Скашии чтоо-ниппуть самм!» — «Спокоюйной ноочи».

Звонок в эстонскую службу быстрого реагирования: «Алло! Это проспект Ленина, 13. Четвертый подъезд. У нас взорвалась газовая плита!!! Взрывом разнесло стену!!! Там магазин лакокрасочных изделий!!! Все горит!!! Сейчас загорается второй этаж!!! Скоро рухнет весь дом!!!» — «Алло. Здравствуйте. Это эстонская служба быстрого реагирования. У вас проблема?»



Эстонец с женой приезжает в одну из арабских стран. Там они идут на местный рынок. На рынке к ним подходит араб и обращается к эстонцу: «Европеец?» — «Та, я ис Европ». — «Это твоя жена?» — «Та, моя сена». — «Я предлагаю тебе за нее 50 верблюдов». Эстонец округляет глаза, начинает что-то думать 10 минут, 15... 20... затем говорит: «Нет, она не протается». Араб уходит, и жена говорит эстонцу недовольным голосом: «Почему ты сразу ему не скасал, что я не протаюсь? Ты что, хотел меня унисить?» — «Нет, просто я думал, как ше я смоку уместить в квартире 50 верплютов».

Много новых анекдотов об эстонцах появилось в последние десятилетия, после того как Эстония снова стала независимым государством. Тем не менее, как уже говорилось, типологически по целому ряду характеристик (имитация акцента в русской речи, принадлежность к собственно этническим анекдотам) эти анекдоты должны рассматриваться как «анекдоты об инородцах», а не анекдоты об иностранцах.

Многонациональные анекдоты

Как правило, об иностранцах речь идет только в многонациональных анекдотах (некоторым исключением является популярная серия анекдотов «из английской жизни»). Речь иностранцев (в частности, *англичан, американцев, французов и немцев*), как уже говорилось, никак специально не передается, об их национальной принадлежности свидетельствуют только имена собственные (*Джон, Мэри, Пьер*) и некоторые общеизвестные слова или междометия соответствующих языков (*сэр, мистер, йес, месье, о-ла-ла, яволь*). Некоторым исключением из этого правила являются японцы, речь которых изображается посредством реализации шипящих как свистящих, так что фонетически речь японцев в анекдотах оказывается сходной с речью чукчей, что выглядит некоторым парадоксом, поскольку в анекдотах образ технически продвинутого японца в чем-то противоположен образу живущего почти первобытной жизнью чукчи[6].

Анекдоты о разных национальностях можно свести к двум основным типам (впрочем, жесткой границы между анекдотами этих двух типов нет). В анекдотах первого типа люди разных национальностей вместе попадают в какую-то необычную ситуацию (на необитаемый остров, к вождю дикого племени, в тюрьму и т. п.) и каким-то образом взаимодействуют. В анекдотах второго типа каждый из них по отдельности как-то отвечает на один и тот же вопрос или действует в одной и той же ситуации[7].

В «многонациональных» анекдотах обоих типов именно *русский* действует самым необычным, неожиданным образом, его слова или действия составляют то, что называется «солью» анекдота[8], например:

Проходят международные соревнования, кто больше выпьет водки. Пить водку надо из ведра ковшиками. Комментатор: «На помост выходит американский спортсмен. Первый, второй, третий, четвертый, пятый... сломался. Пока с помоста выносят американского спортсмена, на трибунах русский спортсмен разминается красненьким. На помост выходит французский спортсмен. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый... сломался. Французского спортсмена выносят с помоста, а в это время русский спортсмен на трибунах разминается красненьким. ...На помост выходит русский спортсмен. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый, тринадцатый... сломался. Пока чинят ковшик, русский спортсмен разминается красненьким».

Посадили инопланетяне американца, японца и русского в камеру без окон без дверей, дали по два металлических шарика, сказали, придут через три дня и если не придумаете, что можно сделать с этими шариками, уьем. Приходят через три дня. Американец в камере шариками жонглирует, у японца шарики сами крутятся. А русский сидит, ничего не делает. Инопланетяне спрашивают: «А ты что научился делать?» — «Да ничего, я в первый же день один шарик сломал, другой потерял».

Заметим, что отличительной особенностью русских анекдотов является то, что в них выступать последним и демонстрировать «соль» анекдота (т. е. занимать место *русских*) могут некоторые персонажи русских этнических анекдотов, а именно *евреи, украинцы и чукчи* (иногда они фигурируют в них вместе с *русскими*), например:

У немца есть и жена, и любовница, но любит он жену. У итальянца есть и жена, и любовница, а любит он любовницу. У француза есть и жена, и любовница, а любит он обеих. У русского есть и жена, и любовница, но любит он водку. У еврея есть и жена, и любовница, а любит он маму.

Можно сделать вывод, что рассказчики и слушатели воспринимают персонажей русских этнических анекдотов как своеобразных представителей той же общности, к которой принадлежат они сами. Относительно большинства анекдотов, в которых место, предназначенное для представителя родного народа рассказчика, занимают *евреи*, можно предположить, что они родились или активно рассказывались в еврейской среде (во многих случаях это достоверно известно). В отношении украинцев причина скорее в том, что украинцы рассматриваются в русских анекдотах как своего рода «русские». Этот вывод косвенно подтверждается языковыми данными: имитация речи украинцев в анекдотах изображает их именно как русских, хотя и «неправильных»[9]. В отношении *чукчей* причина может быть сходной: ср. мнение Э. Драйцера, который в книге о русских этнических анекдотах писал, что украинцам и чукчам в этих анекдотах приписываются те же черты, которые русские приписывают самим себе[10].

Такие анекдоты подтверждают традиционные стереотипные представления русских о себе: удаль, пьянство, душевность, пренебрежение к писаным законам, лень, нежелание добиваться успеха и богатства. Русские женщины в анекдотах романтичны, легкомысленны, несчастны в семейной жизни, хотя (в отличие от западных жен) являются реальной главой семьи. Подтверждаются стереотипы, связанные с чукчами, украинцами и евреями, которые выявляются на основе собственно этнических анекдотов. Что касается прочих иностранцев, то многонациональные анекдоты в целом соответствуют стереотипным представлениям об этих народах[11], но эти стереотипы обычно проявляются в таких анекдотах не очень ярко.

Разумеется, этническим стереотипам, на которых строятся анекдоты, не следует придавать слишком большого значения. Для того чтобы понимать и рассказывать эти анекдоты, необходимо знать эти стереотипы (они входят в общий фонд знаний современных россиян), но вовсе не требуется разделять их и считать, что это и есть подлинные характерные черты соответствующих народов.

[1] Этот метод был предложен в статье: *Плунгян В. А., Рахилина Е. В.* С чисто русской аккуратностью... (к вопросу об отражении некоторых стереотипов в языке) // Московский лингвистический журнал. 1996. Т. 2. С. 340—351.

[2] Любопытно, что анекдоты о новых русских, появившиеся в самом начале 1990-х, по целому ряду признаков подобны собственно этническим анекдотам, а *новые русские* как персонажи этих анекдотов похожи на своего рода этническое меньшинство. Это свидетельствует о том, что «новые русские» в глазах рассказчиков рассматриваемых анекдотов представляют собой особую социальную группу, с которой рассказчик анекдота себя не ассоциирует (*Шмелева Е. Я., Шмелев А. Д.* Русский анекдот: текст и речевой жанр. М.: Языки славянской культуры, 2002. С. 68—73).

[3] В настоящее время, если исходить из формальных государственных границ, *украинцы, грузины, эстонцы* должны были бы характеризоваться как «иностранцы». Тем не менее в пространстве русского анекдота они сохраняют признаки «инородцев» — народов, живущих рядом с русскими, но не вполне владеющих русским языком и отличающихся от русских определенными чертами характера и бытового поведения. Точно так же *финны* как герои анекдота по многим признакам ближе в пространстве русского анекдота к «инородцам», чем к «иностранцам». Немногочисленные анекдоты *офиннах*, по-видимому, генетически восходят к бытовавшим еще в Российской империи рассказам *о чухонцах*; правда, большая часть этих историй трансформировалась в анекдоты об *эстонцах*.

[4] Недавно в переводе на русский язык был опубликован сборник еврейских анекдотов: *Ланцман З.* (сост. и комм.) Еврейское остроумие / пер. с немецкого Ю. Гусева и Н. Михелевич. М.: Текст; Лехаим, 2006. Многие из вошедших в этот сборник анекдотов с давних пор рассказывались по-русски.

[5] Если грузины, чукчи и евреи в анекдотах говорят по-русски, а этноязыковая принадлежность персонажа подчеркивается при помощи специальных вкраплений, то украинцы в анекдотах говорят по-украински — в той мере, в какой рассказчик в состоянии имитировать украинскую речь. Иными словами, речь грузина, чукчи или еврея в анекдоте — это русская речь с теми или иными отклонениями от нормы, причем наличие отклонений обусловлено установкой рассказчика на имитацию русской речи с отклонениями; а речь украинца — это украинская речь с отклонениями, причем отклонения обусловлены тем, что рассказчик, как правило, не владеет украинским языком в достаточной мере. Украинский язык в анекдотах воспринимается как нарочитое искажение русского языка. Подробный анализ анекдотов об украинцах содержится в нашей статье: *Шмелева Е., Шмелев А.* Мы и они в зеркале анекдота // Отечественные записки. 2007. № 1 (34). С. 215—222.

[6] По-видимому, в пространстве русского анекдота японец воспринимается как персонаж, в чем-то сходный с чукчей: *У чукчей родился неприлично умный ребенок. Его выгнали. Так появились японцы!* Надо заметить, что и типологически целый ряд анекдотов о *японцах* похожи на анекдоты *о чухонцах*, однако в отличие от *чукчи*, не затронутого цивилизацией и потому плохо ориентирующегося в русском городе, *японец* воспринимает русский город примерно так, как русский может воспринимать тундру — естественное место обитания *чукчи*. Вот характерный анекдот советского времени: *Привели японца на междугороднюю телефонную станцию. Из кабинки доносится: «Воронеж!.. Воронеж!.. Воронеж!..» Японец не выдерживает и спрашивает: «А что, по телефону нельзя позвонить?»*

[7] К анекдотам второго типа примыкают длинные анекдоты-списки, которые отчасти нарушают правила построения текста анекдота (их гораздо легче читать, чем рассказывать).

[8] Это универсальная характеристика «многонациональных» анекдотов: в них попадает в фокус внимания именно представитель народа, к которому принадлежит рассказчик (и слушатели) анекдота.

[9] *Шмелева Е., Шмелев А.* Мы и они в зеркале анекдота...

[10] *Draitser, E.* Taking Penguins to the Movies: Ethnic Humor in Russia. Detroit: Wayne State University Press, 1998. P. 63—74, 94—100. Один из разделов главы этой книги, посвященной русским анекдотам о чукчах, даже назывался «Чукча как русский» [*The Chukchi as a Russian*].

[11] Например, в анекдоте о двух мужчинах и одной женщине, попавших на необитаемый остров после кораблекрушения. На острове, где жили французы, все было очень весело и довольны. Там было построено два дома, в одном из которых жила семейная пара, в другом — одинокий мужчина, а на дереве висело расписание: «Январь: Жан — муж, Пьер — любовник, февраль: Пьер — муж, Жан — любовник, март: Жан — муж и т. д.». На английском острове в разных его концах было построено три дома. В них сидели очень мрачные и молчаливые англичане, которые за этот год так и не познакомились, потому что их некому было друг другу представить.

<http://postnauka.ru/books/13214>

5 книг о русском языке

Что читать об истории русского языка и его особенностях

рекомендует доктор филологических наук Максим Кронгауз

Я могу назвать пять книг о русском языке, к которым приложим эпитет «классические», а если добавить пафоса, то это книги-легенды. Речь идет о трех популярных книгах и двух научных, но – и это редчайший случай – эти две монографии может с удовольствием читать или просматривать неспециалист. Начну с них.

1



С. И. Карцевский «Язык, война и революция» («Из лингвистического наследования», М.: Языки русской культуры, 2000)

Эта небольшая книга вышла в Берлине в 1923 году. Она содержит необычайно интересные наблюдения над изменением русского языка в начале двадцатого века, а точнее – с 1905 года. Автор в ту пору уже эмигрант, и это позволяет ему быть более откровенным. Именно Сергей Иосифович Карцевский сохранил для нас всевозможные названия ЧК: от чрезвычайки, чайки и черезчурки до Верочки (Всероссийская ЧК), Манечки и Эмочки (Московская ЧК). И от него мы узнали, что выражение «Вера Михайловна» означало высшую меру наказания, а «умереть от угрызения совести» – быть расстрелянным. Книга читается с огромным интересом и

из-за своей краткости доступна для всех.

2



А. М. Селищев «Язык революционной эпохи. Из наблюдений над русским языком (1917–1926)» (М.: УРСС, 2003)

Эта книга появилась в 1928 году и до сих пор остается самым полным описанием языка революционной эпохи. Русский описывается на фоне французского языка XVII–XVIII вв., что позволяет увидеть поразительные аналогии. В советское время книга хранилась в спецхране, и трудно даже понять, почему автора не посадили сразу. Приведу одну цитату, которую сам Афанасий Матвеевич Селищев приводит как цитату из «Рабочей

Москвы»: «Недаром некоторые поговаривают: – Говорит непонятно – значит, большевик...». Селищева арестовали в 1934 году по делу «Российской национальной партии» и осудили на пять лет лагерей. На свободу он вышел совершенно больной, но досрочно – в 1937 году. Умер в 1942-м. Книга Селищева – выдающийся памятник эпохе и русскому языку того времени.

3

К. Чуковский «Живой как жизнь» (М.: КДУ, 2004)



Пожалуй, моя самая любимая книга о русском языке. Корней Чуковский велик в разных своих ипостасях. Мне трудно представить себе писателя, переводчика, критика, наконец, просто интеллигента, понимающего язык так, как понимают его лингвисты. То есть не ужасающегося неграмотности окружающих, ошибкам молодежи и т.п. (или, по крайней мере, не только ужасающегося), но сознающего неизбежность изменений языка и его норм.

Многие мысли и слова Чуковского кажутся написанными о нашем времени. Вот например: «Но вот миновали годы, и я, в свою очередь, стал стариком. Теперь по моему возрасту и мне полагается ненавидеть слова, которые введены в нашу речь молодежью, и вопить о порче языка. Тем более что на меня, как на всякого моего современника, сразу в два-три года нахлынуло больше слов, чем на моих дедов и прадедов за последние два с половиной столетия» (напомню, что книга вышла в свет в 1962 году). А вот Чуковский, несмотря на то, что так полагается, не ненавидит. Хотя кое-что все-таки ненавидит. И для этого ненавидимого им объекта он придумал термин, который пережил свое время и используется до сих пор – «канцелярит» (собственно, так называется одна из глав его книги).

4



Н. Галь «Слово живое и мертвое» (М.: Время, 2012)

А эта книга, несмотря на определенное сходство с предыдущей, имеет противоположный посыл. Автор – переводчица с английского и французского, литературный критик, редактор, обладающий прекрасным языковым вкусом. Как и Корней Чуковский, Нора Галь подробно разбирает речевые неточности или ошибки и очень четко ставит диагноз. Но, в отличие от Чуковского, почти никогда этих ошибок не прощает. Именно поэтому книга «Слово живое и мертвое» так близка многим читателям с филологическим образованием и вообще интеллигентным людям. Ведь язык, как мы знаем, отличный инструмент установления социальной иерархии, и знание литературной нормы, безупречный языковой вкус возносят культурного человека на вершину социальной пирамиды. А вот лингвист (даже и не лишенный языкового вкуса) почему-то сопротивляется и норовит вставить хотя бы одно «но». Да что лингвист, лично я сопротивляюсь почти так же, как сопротивляюсь редактору, который хочет

улучшить мою речь, заменяя «достаточно» на «довольно» и «сложно» на «трудно». Для меня крайне важно, что по-русски можно говорить и писать по-разному, и это разнообразие не сводимо к единому «правильному» стилю. И именно это разнообразие дает возможность языку изменяться, так что неправильное становится правильным и наоборот. О чем, собственно, и писал Корней Чуковский.



М. В. Панов «И все-таки она хорошая» (М., 1964. (2-е изд., испр., М.: Вербум-М, 2007)

Еще одна книга-легенда, хотя и менее известная, чем уже обсужденные. Она написана выдающимся лингвистом и рассчитана на массового читателя. Сегодня лингвисты довольно часто пишут популярные книги, но в своем поколении Михаил Викторович Панов был, по-видимому, единственным. Я бы вообще назвал его первопроходцем. В отличие от многих лингвистов, он любил писать понятно и увлекательно, порой удивляя читателя. У него, безусловно, был литературный дар. Его книга начинается с чудесной фразы: «Я знаю, что многие из моих читателей плохо относятся к орфографии». Грубо говоря, эта фраза и название книги описывают ее содержание: автор объясняет читателю, почему можно и нужно любить русскую орфографию. Думаю, что современные лингвисты-популяризаторы

(и я в том числе) многим обязаны Михаилу Викторовичу. И еще – его популярные книги интересно читать и взрослым, и детям. Впрочем, для детей он писал и отдельно, включая учебники. Их едва ли можно рекомендовать всем, но детям, увлеченным языком, безусловно, да.

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРЕМИИ МИРА

Премия Хьюго

Эту премию можно назвать одной из самых демократичных: ее лауреатами становятся по результатам голосования зарегистрированных участников Всемирных конвентов любителей фантастики WorldCon (поэтому премия считается «читательской»).

Премия Хьюго (Hugo Award) — литературная премия в области научной фантастики. Она учреждена в 1953 и носит Хьюго Гернсбека — создателя первых специализированных научно-фантастических журналов. Премия присуждается ежегодно за лучшие произведения в жанре фантастики, опубликованные на английском языке. Победителям вручается статуэтка в виде взлетающей ракеты.

Премия вручается в следующих номинациях:

- Лучший роман (Best Novel)
- Лучшая повесть (Best Novella)
- Лучшая короткая повесть (Best Novellette)
- Лучший рассказ (Best Short Story)
- Лучшая книга о фантастике (Best Related Book)
- Лучшая постановка, крупная форма (Best Dramatic Presentation, Long Form)
- Лучшая постановка, малая форма (Best Dramatic Presentation, Short Form)
- Лучший профессиональный редактор (Best Professional Editor)
- Лучший профессиональный художник (Best Professional Artist)
- Лучший полупрофессиональный журнал (Best SemiProzine)
- Лучший фэнзин (Best Fanzine) • Лучший фэн-писатель (Best Fan Writer)
- Лучший фэн-художник (Best Fan Artist)

Со списком лауреатов этой и другой фантастических премий можно ознакомиться на сайте «Русская Фантастика» (www.rusf.ru).

Отдельно присуждается премия имени Джона Кэмпбелла — «самому многообещаемому молодому автору года» (Most Promising New Author of the Year), которую получает фантаст-дебютант.

Вместе с премией «Хьюго» иногда присуждается премия «Гэндальф» - не за конкретное произведение, а за весомый вклад в развитие жанра фэнтези.

Премия Ренодо

Носит имя Теофраста Ренодо (1586-1653) - французского королевского врача, историографа, одного из создателей современной журналистики, издателя первой европейской газеты «La Gazette».

Награда учреждена в 1925 году журналистами, томившимися в ожидании результатов заседания гонкуровского жюри. Поэтому премия Ренодо присуждается всегда в тот же день, что и Гонкуровская.

Несмотря на "безденежность", является второй по значимости литературной наградой Франции после Гонкуровской.

Премия состоит в том, что через год после её присуждения в честь лауреата устраивается весёлый обед.

Среди лауреатов разных лет - Марсель Эме, Луи-Фердинан Селин, Луи Арагон, Роже Пейрефит, Сюзанн Пру, Даниэль Пеннак, Фредерик Бегбедер.

В 2001 году награду присудили Эммануэлю Карреру за роман об Эдуарде Лимонове, который так и называется - «Лимонов».

Премия имени Сервантеса

Литературная премия имени Сервантеса, учрежденная министерством культуры Испании в 1975 году, ценится в испаноговорящем мире не меньше Нобелевской. Денежная часть «испанской «Нобелевки» составляет 90 тысяч евро, она ежегодно вручается очередному лауреату королем всея Испании Хуаном Карлосом на родине автора «Дон Кихота» - в городке Алкала-де-Энарес, что в 50 километрах от Мадрида.

Поскольку хороших и разных испаноязычных литераторов много, по неписаной традиции награда достается поочередно представителям то Испании, то стран Латинской Америки. Например, в 2005 году лауреатом стал 72-летний Серхио Питоль - автор многочисленных романов, эссе и стихотворений, переводчик иностранных писателей, в том числе Антона Чехова, в прошлом дипломат. Немалую роль в присуждении премии мексиканцу сыграл тот факт, что в 2004-м ее дали испанцу Рафаэлю Санчесу Ферлосио.

Среди лауреатов премии были Хорхе Луис Борхес (Аргентина, 1979), Рафаэль Альберти (Испания, 1983), Марио Варгас Льюса (Перу, 1994), Гильермо Кабрера Инфанте (Куба, 1997), Хорхе Эдвардс (Чили, 1999) и другие.

Премия Джеймса Тейта

Старейшая литературная награда Великобритании – мемориальная премия Джеймса Тейта Блэка (James Tait Black Memorial Prize), которая присуждается Эдинбургским университетом с 1919 года лучшим романистам и авторам биографических сочинений.

Ее лауреатами в разное время становились Ивлин Во, Айрис Мердок, Грэм Грин, Иэн Макьюэн.

В 2007 году премию получил американский писатель Кормак МакКартти (Cormac McCarthy) за роман «Дорога» (The Road).

В 2008 году премию получили: в номинации «Художественная литература» Розалинда Белбен (Rosalind Belben) за роман «Лошади в Египте» (Our Horses in Egypt), в номинации «Биография» — Розмари Хилл (Rosemary Hill) за книгу «Божественный архитектор Пугин и сооружения британского романтизма» (God's Architect: Pugin and the Building of Romantic Britain).

В 2009 году лауреатами, соответственно, стали А.С. Байат с "Детской книгой" и Джон Кэри с книгой "Уильям Голдинг: человек, написавший "Повелителя мух".

В 2010-м лауреатом в номинации «Художественная литература» стала Татьяна Соли с романом "Пожиратели лотоса", в номинации «Биография» — Хилари Сперлинг с книгой "Захоронение костей: Перл Бак в Китае".

Премия The Baileys Women's Prize for Fiction (панее Orange Prize)

Представительницам женской прозы в Великобритании – просто раздолье: сугубо для женщин-литераторов, пишущих на английском языке, с 1996 года существует премия Orange Prize. Победительницам вручают бронзовую статуэтку с нежным именем Бесси и чек на приятную сумму - 30 000 фунтов стерлингов.

В 2006 году счастливой обладательницей вышеупомянутого приза стала тридцатилетняя уроженка Лондона Зейди Смит (Zadie Smith) с романом «On Beauty» («О красоте»). В 2005 году он номинировался на Букера, но проиграл «Морю» Джона Бэнвилла. Зейди Смит в Orange Prize не новичок: ее предыдущие романы «White Teeth» («Белые зубы») и «The Autograph Man» («Продавец автографов») уже попадали в «шорт-листы» премии. В 2007 году победительницей стала нигерийка Чимаманда Нгози Адичие - автор романа «Половина желтого солнца». В 2008 году лауреатом названа Роуз Тремэйн (Rose Tremain) за роман «The Road Home» («Дорога домой»). В 2009 году победила американка Мэрилин Робинсон с романом «Жилище» («Home»). В 2010 году за роман «Лакуна» лауреатом стала американская писательница Барбара Кингсолвер, которая уже входила в премиальный шорт-лист в 1999 году с романом «Библия ядовитого леса». В 2011 году награду получила 25-летняя уроженка Сербии Теа Обрехт, автор романа «Жена тигра», ставшая самым молодым лауреатом за всю историю премии. В 2012-м победила американка Мадлен Миллер с дебютным романом «Песня Ахилла». В 2013-м лауреатом стала ее соотечественница Э.М. Хоумс с романом «Будем ли мы прощены».

Нобелевская премия по литературе

Премия, учрежденная шведским инженером-химиком, изобретателем и промышленником Альфредом Бернхардом Нобелем и названная в его честь Нобелевской, является самой престижной в мире и самой критикуемой. Конечно, во многом это обусловлено размером «Нобелевки»: награда состоит из золотой медали с изображением А. Нобеля и соответствующей надписью, диплома и, самое главное, чека на денежную сумму. Размер последней зависит от прибыли Нобелевского фонда. Согласно завещанию Нобеля, составленному 27 ноября 1895 года, его капитал (первоначально свыше 31 млн. шведских крон) был помещен в акции, облигации и займы. Доход от них ежегодно делится на 5 равных частей и становится премиями за самые выдающиеся мировые достижения в физике, химии, физиологии или медицины, литературы и за деятельность по укреплению мира.

Первые награды были присуждены 10 декабря 1901 и составляли по 150 тыс. шведских крон (6,8 млн. крон в исчислении 2000 года). В прошлом году нобелиантам досталось по 10 миллионов шведских крон, или около 1 миллиона 300 тысяч долларов.

Особые страсти разгораются вокруг Нобелевской премии по литературе. Главные претензии к Шведской академии в Стокгольме (именно она выявляет достойнейших писателей), - и сами решения Нобелевского

комитета, и то, что они принимаются в обстановке строгой секретности. Нобелевский комитет оглашает только число претендентов на ту или иную премию, но не называет их имен. Злые языки также утверждают, что премия подчас дается по политическим, а не литературным мотивам. Главный козырь критиков и хулителей - обойденные «Нобелевкой» Лев Толстой, Набоков, Джойс, Борхес...

Тем не менее, [список лауреатов Нобелевской премии в области литературы](#) более чем внушительен.

Наши соотечественники становились обладателями «Нобелевки» 5 раз: 1933 год – Бунин, 1958 год – Пастернак (под давлением советских властей отказался от премии), 1965 год – Шолохов, 1970 – Солженицын и 1987 – Бродский.

Премия вручается ежегодно 10 декабря – в годовщину смерти Нобеля. Шведский король традиционно награждает писателей-нобелиантов в Стокгольме. В течение 6 месяцев после получения «Нобелевки» лауреат должен выступить с Нобелевской лекцией по тематике своей работы.

Международная премия имени Г.-Х. Андерсена

За появление этой премии надо сказать спасибо немецкой писательнице Елле Лепман (1891-1970). И не только за это. Именно госпожа Лепман добилась того, что решением ЮНЕСКО день рождения Г.-Х. Андерсена, 2 апреля, стал Международным днем детской книги. Она же инициировала создание Международного совета по детской и юношеской книге (IBBY) – организации, объединяющая писателей, художников, литературоведов, библиотечарей более чем шестидесяти стран. С 1956 года IBBY присуждает Международную премию имени Г.-Х. Андерсена, которую с легкой руки все той же Еллы Лепман называют «маленькой Нобелевской премией» по детской литературе. С 1966 года эта награда вручается и художникам-иллюстраторам детских книг.

Золотую медаль с профилем великого сказочника лауреаты получают раз в 2 года на очередном конгрессе IBBY. Награда полагается только здравствующим писателям и художникам. Первой обладательницей «детской «Нобелевки» в 1956 году стала английская сказочница Элеанор Фарджон, известная у нас по переводам книг «Хочу Луну», «Седьмая принцесса». В 1958 году премию получила шведская писательница Астрид Линдгрэн. Среди других лауреатов тоже немало звезд мировой величины – немецкие писатели Эрих Кестнер и Джеймс Крюс, итальянец Джанни Родари, Богумил Ржига из Чехословакии, австрийская писательница Кристине Нестлингер... Увы, наших соотечественников в списке «андерсеносцев» нет, хотя Совет по детской книге России входит в IBBY с 1968 года. Только художник-иллюстратор Татьяна Алексеевна Маврина (1902-1996) получила медаль Андерсена в 1976 году.

Правда, у Международного совета по детской книге есть еще одна награда – Почетный диплом за отдельные книги для детей, за их иллюстрирование и лучшие переводы на языки мира. Дипломы вручаются тогда же, когда и основная награда, писателям, художникам и переводчикам по представлению национальных Советов по детской книге. Среди советских и российских дипломантов были в разные годы писатели Радий Погодин, Юрий Коваль, Валентин Берестов, Агния Барто, Сергей Махотин, художники Лев Токмаков, Борис Диодоров, Виктор Чижиков, Май Митурич, переводчики Яков Аким, Юрий Кушак, Ирина Токмакова, Михаил Яснов, Марина Бородинская и другие.

Международная литературная премия Астрид Линдгрэн

Еще одна награда для детских писателей носит имя «мамы» Карлсона и Калле-сыщика, Пеппи Длинныйчулок и... Впрочем, перечислять героев книг знаменитой шведки Астрид Линдгрэн можно долго. Лучшей памятью о писателе являются его книги, но Правительство Швеции сразу после смерти Линдгрэн решило учредить и литературную премию имени всемирно известной сказочницы. «Я надеюсь, что Премия будет выполнять двойную роль – служить нам напоминанием об Астрид и деле ее жизни, а также будет способствовать популяризации хорошей детской литературы и содействовать ее развитию», – заявил Премьер-министр Швеции Йоран Перссон.

Ежегодная Международная литературная премия Астрид Линдгрэн (The Astrid Lingren Memorial Award) «За произведения для детей и юношества» должна привлекать внимание мировой общественности к литературе для детей и подростков и к правам детей. Поэтому она может присуждаться не только писателю или художнику за исключительный вклад в развитие детской книги, но и за любую деятельность по пропаганде чтения и защите прав ребенка. Привлекает и денежное содержание награды – 500 000 евро. Счастливых обладателей премии определяют 12 почетных граждан страны, члены Государственного культурного совета Швеции. По традиции, имя лауреата этой премии каждый год называется в марте на родине Астрид Линдгрэн. Награду лауреату вручают в мае в Стокгольме.

18 марта 2003 г. были объявлены первые победители – австрийская писательница Кристине Нёстлингер и американский художник, создатель оригинальных книжек-картинок Морис Сендак. В 2004 году премию получила бразильская писательница, лауреат Международной литературной премии им. Андерсена Лиджа Божунга, в 2006 году – американка Кэтрин Патерсон.

Лауреатом премии 2007 года стал венесуэльский "Банк Книги" (Banco del Libro) – некоммерческая организация, основанная в 1960 году в столице Венесуэлы Каракасе. Ее целью является популяризация детской литературы, издательская деятельность, расширение сети библиотек и книжных магазинов. Награда присуждена за активность, профессионализм, работу в непосредственном контакте с детьми и отсутствие бюрократизма.

Официальный сайт премии: <http://www.alma.se/>

Гринцане Кавур

В 2001 году ЮНЕСКО объявила премию «Гринцане Кавур» «образцовым институтом международной культуры». Несмотря на недолгую историю существования (с 1982 по 2009 годы), премия стала одной из самых престижных литературных наград Европы. Свое название она получила по имени туринского замка XIII века: раньше там жил граф Бенсо Кавур - первый премьер-министр объединенной Италии, а сейчас располагается штаб-квартира премии.

Главная цель «Гринцане Кавур» - приобщение молодого поколения к литературе, для чего в состав жюри включают и маститых литературных критиков, и школьников. За книги авторов, номинированных на премию, голосуют около тысячи подростков из Италии, Германии, Франции, Испании, Бельгии, Чехии, США, Кубы, Японии. Надо признать, литературный вкус у школьников неплохой - среди лауреатов прошедших лет были:

С 2004 в России переводчикам с итальянского либо авторам произведений, опубликованных в Италии и касающихся итальянской тематики, вручалась премия «Гринцане Кавур Москва» (Grinzane Cavour Moscow). В 2004 ее получили Евгений Рейн, Елена Костюкович и Владислав Отрошенко, в 2005 — Наталия Ставровская и Асар Эппель. В 2007 году лауреатом «Гринцане Кавур Москва» стал писатель Михаил Шишкин, обладатель «Большой книги»-2006 и «Национального бестселлера», и переводчица Елена Дмитриева, автор русских версий «Леопарда» Лампедузы, произведений Леонардо Шаши, Примо Леви и других.

В 2008 году лауреатом премии в номинации "Лучшая проза на иностранном языке" стала Людмила Улицкая за роман "Искренне Ваш, Шурик" (помимо Улицкой победителями в данной номинации стали испанский и немецкий писатели Бернардо Ачага и Инго Шульце).

Гонкуровская премия

Главная литературная премия Франции - Гонкуровская (Prix Goncourt), учрежденная в 1896 году и присуждаемая с 1902 года, вручается автору лучшего романа или сборника новелл года на французском языке, не обязательно живущему во Франции. Она носит имя французских классиков братьев Гонкуров (Goncourt) – Эдмона Луи Антуана (1832-1896) и Жюль Альфреда Юо (1830-1869). Младший, Эдмон, завещал свое громадное состояние литературной Академии, которая стала называться Гонкуровской и учредила ежегодную одноименную премию.

В Гонкуровскую академию входят 10 самых известных литераторов Франции, которые работают не корысти ради, а за символическую плату - 60 франков в год. Каждый имеет один голос и может отдать его за одну книгу, только президент имеет два голоса. Членами Гонкуровской академии в разное время были писатели А. Доде, Ж. Ренар, Рони-старший, Ф. Эриа, Э. Базен, Луи Арагон... В 2008 году устав Гонкуровской академии изменился: теперь возраст членов жюри престижной Гонкуровской премии не должен превышать 80 лет.

Денежное содержание награды чисто символическое - сейчас оно составляет 10 евро. Но после присуждения премии продажи книги-победителя резко увеличиваются, принося автору и славу и доходы.

Изначально премия задумывалась как награда молодым писателям за оригинальность таланта, новые и смелые поиски содержания и формы. Однако эти пожелания учредителя Э. Гонкура скоро забылись. До Второй мировой войны (да и после) случаи ее присуждения за действительно выдающиеся произведения можно пересчитать по пальцам - например, Гонкуровская премия досталась антивоенному роману «Огонь» Анри Барбюса. А вот имя первого лауреата Джона-Антуана Нау (1903) давно забыто, его произведения (как и многих других обладателей Гонкуровской премии) никогда не были известны за пределами Франции. Хотя среди «гонкуриатов» встречались и настоящие знаменитости - Марсель Пруст (1919), Морис Дрюон (1948), Симона де Бовуар (1954). Один раз за более чем вековую историю премии лауреатом стал выходец из России Андрей Макин за роман «Французское завещание», переведенный на 30 языков.

Французский писатель А. Стиль как-то заметил, что «Гонкуровская премия имеет тенденцию, с одной стороны, подниматься, а с другой - резко падать». Впрочем, не только она...

Букеровская премия

Получить Букеровскую премию может любой житель стран Содружества наций или Ирландии, чей роман на английском языке сочтут достойным мировой славы и 50 тысяч фунтов стерлингов. Награда вручается с 1969 года, с 2002 года её спонсором является группа компаний Man, и официальное название премии — The Man Booker Prize.

Как определяют победителя? Сначала ежегодно обновляемый консультативный комитет в составе издателей и представителей писательского мира, литературных агентов, книготорговцев, библиотек и Фонда Букеровской премии формирует список из примерно ста книг. Комитет же утверждает жюри из пяти человек – известных литературных критиков, писателей, учёных, общественных деятелей. В августе жюри объявляет «лонг-лист» из 20-25 романов, в сентябре - шестерых участников «шорт-листа», а в октябре – самого лауреата.

Четыре раза Букер был «кузницей кадров» для «Нобелевки»: букериаты Уильям Голдинг, Надин Гордимер, В. С. Найпол и Дж. М. Кутзее стали впоследствии лауреатами Нобелевской премии по литературе. Дж. М. Кутзее и Питер Кэри завоевали Букера дважды (в 1983 и 1999 гг.; в 1988 и 2001 гг., соответственно). Никем не превзойдён рекорд Айрис Мёрдок (лауреата Букера в 1978 г.) по числу попаданий в «короткий» список - 6 раз. Последним лауреатом (за 2005 г.) стал ирландец Джон Бэнвилл с романом «Море», обскакавший в

премиальном марафоне таких мэтров, как тот же Кутзее, Салман Рушди, Джулиан Барнс, Иэн Макьюен и других.

К 40-летию премии появилась специальная награда «Букер всех времен». Ее лауреатом должен был стать букериат, чье произведение читатели сочли лучшим романом за все годы существования премии. По итогам интернет-голосования победил британский прозаик и поэт индийского происхождения сэр Салман Рушди с романом «Дети полуночи».

Россияне знакомятся с книгами-«букероносцами» благодаря серии «Премия Букера: Избранное», выпускаемой с 2002 года издательством «РОСМЭН». В неё входят и произведения из «длинного» и «короткого» списков.

[Лауреаты Букера](#)

Кроме того, существует Международная Букеровская премия, которая вручается раз в два года. Она присуждается писателю, пишущему на английском языке или автору, произведения которого широко переводятся на английский.

В 2009 году в число финалистов «Международного Букера» вошла российская писательница, обладательница «Русского Букера» Людмила Улицкая, а лауреатом премии в мае 2009 года назвали 77-летнюю канадскую писательницу Элис Мунро, известную в основном своими рассказами. Денежное содержание награды - 103 тыс. долларов.

The Carnegie Medal

Слово «медаль» можно встретить в названии многих «детсколитературных» премий. Например, получить The Carnegie Medal почтет за честь абсолютное большинство писателей.

Эта очень престижная премия вручается с 1936 года и всегда пользуется вниманием широкой общественности. Жюри состоит из представителей ассоциации библиотекарей.

Список лауреатов: <http://www.carnegiegreenaway.org.uk/carnegie/list.html>

IMPAC

Самая большая в мире премиальная сумма за отдельное литературное произведение - 100 тысяч евро. Ее получают лауреаты международной премии IMPAC, учрежденной в 1996 году Городским советом Дублина.

В этом городе, воспетом Джойсом, и происходит награждение. Хотя штаб-квартира международной компании IMPAC (Improved Management Productivity and Control), чье имя носит награда, расположена во Флориде и прямого отношения к литературе не имеет. IMPAC - мировой лидер в области повышения производительности труда - работает над проектами для крупнейших корпораций и организаций в 65 странах мира.

Правда, высокая производительность писательского труда (в сочетании с качеством) тоже может принести премиальные плоды. Чтобы участвовать в конкурсе, произведение должно быть написано или переведено на английский язык и выдержать жесткую международную конкуренцию: правом выдвижения соискателей пользуются 185 библиотечных систем в 51 стране.

Folio Prize

Англоязычная награда учреждена в 2013 году «в пику» Букеровской премии: в 2011-м ряд писателей, издателей и литературных агентов выступили с резкой критикой Букера, обвинив его в популизме, погоне за «читабельностью».

На премию Folio Prize могут претендовать англоязычные писатели, произведения которых изданы в Великобритании.

Первый лауреат станет известен в марте 2014 года.

Предполагается, что в жюри, которое будет избираться ежегодно из «академии» авторитетных писателей и критиков, войдут Джон Максвелл Кутзее, Иэн Макьюэн, Салман Рушди и др.

Официальный сайт премии: <http://www.thefolioprize.com/>

